1-й экз.

НОВАЯ РОССИЯ



ЯНВАРЬ

1 * 9 * 2 * 6

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1926 год

НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НОВАЯ РОССИЯ

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ. ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. Г. ЛЕЖНЕВА.

Журнал „НОВАЯ РОССИЯ“ дает в каждой книжке исчерпывающую характеристику политической, общественной и культурной жизни истекшего месяца.

В ЖУРНАЛЕ УЧАСТВУЮТ ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И НАУЧНЫЕ СИЛЫ СССР. В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ В ЖУРНАЛАХ „НОВАЯ РОССИЯ“ и „РОССИЯ“ БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛЕД. АВТОРОВ:

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА и ПОЭЗИЯ:

Адалис, Адуев, И. А. Аксенов, П. Антокольский, Арго, Атана, Андрей Белый, Бломквист, В. Я. Брюсов, Мих. Булгаков, Максимилиан Волошин, А. С. Грин, А. А. Демидов, Евг. Замятин, Е. Д. Зозуля, Вал. Катаев, Н. П. Катков, Б. Келлерман, Мих. Козырев, С. Д. Кржижановский, М. А. Кузмин, Б. Лапин, Вл. Ленский, Бен. Лившиц, Вл. Лидин, Лев Лунц, О. Мандельштам, О. Миртов, И. И. Михайловская, В. В. Муйжель, С. Нельдихен, Ник. Никитин, Ев. Николаева, Л. Островер, Над. Павлович, Вал. Парнах, Бор. Пастернак, Дм. Петровский, Бор. Пильняк, Елиз. Полонская, М. М. Пришвин, Ал. Ремизов, Всев. Рождественский, Ив. Рукавишников, Бор. Садовской, Л. Н. Сейфуллина, С. Н. Сергеев-Ценский, Юр. Слезкин, Мих. Слонимский, Андрей Соболь, И. С. Соколов-Микитов, Фед. Сологуб, Ник. Тихонов, А. Н. Толстой, К. А. Тренев, Конст. Федин, О. Форш, В. Хлебников, Мар. Шагинян, Г. Шенгели, М. М. Шкапская, Илья Эренбург.

КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, КРИТИКА:

Проф. С. А. Адрианов, И. А. Аксенов, проф. И. Г. Александров, Н. П. Ашешов, Н. С. Ашукин, Андрей Белый, Конст. Большаков, А. Ф. Бонч-Осмоловский, Георг Брандес, Як. Броун, А. А. Брусилов, Д. И. Выгодский, Максимилиан Гарден, Э. Ф. Голлербах, А. Г. Горнфельд, Л. П. Гроссман, И. Груздев, С. Гуль (Христиания), А. Дрезен, А. Д. Дикий (М. Х. А. Т. 2), В. М. Дорошевич, Евг. Замятин, С. Д. Кржижановский, А. Р. Кугель (Homo Novus), М. А. Кузмин, проф. А. М. Ладыженский, И. Лежнев, Як. Лившиц, Вл. Лидин, Л. И. Логвинович, Ф. Малов, О. Миртов, С. Нельдихен, А. Р. Палей, Г. Поршнев, С. С. Раецкий, Адольф Рифлинг (Берлин), Н. Н. Русов, проф. Б. И. Словцов, Ю. В. Соболев, Стрелец, Ив. Стрельников, М. П. Столяров, А. А. Тамарин, проф. В. Г. Тан-Богораз, проф. В. И. Терновский, проф. Н. В. Устрялов (дискуссионно), проф. Ю. И. Фаусек, О. Форш, проф. Я. И. Френкель, проф. О. Д. Хвольсон, М. А. Чехов, (МХАТ 2), М. С. Шагинян, П. Е. Щеголев, Вик. Шкловский, Карл Эйнштейн (Германия), Илья Эренбург.

„НОВАЯ РОССИЯ“ по типу приближается к англо-американским журналам и содержит более 7 листов печатного материала.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год 5 р. — к., на 3 месяца 1 р. 35 к.; „ 6 мес. 2 р. 60 к. „ 1 „ — р. 50 к. } 12 кн.

Подписка принимается Конторой журнала:
Москва, Советская площ., 28. Телефон 1-76-81.

УПОЛНОМОЧЕННЫМИ КОНТОРЫ ПО ПРИЕМУ ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СССР.

Рукописи и книги для отзыва направлять в адрес Редактора: Б. Полянка, 15, кв. 7, тел. 3-06-03.
Вниманию Издательств: в журнале будут помещаться отзывы лишь о тех книгах, которые будут предоставлены Издательствами в распоряжение редакции журнала.

НОВАЯ РОССИЯ

Ежемесячный журнал политики—экономики—общественности—литературы — искусства — критики

ЯНВАРЬ 1—3 1926 МОСКВА

Госуд. ... музей Библиотека 38882 10-III-1926
469 1-3

Четырнадцатый с'езд

Глава правительства тов. А. И. Рыков, открывая 14 с'езд коммунистической партии, заявил, что *вся страна* с величайшим напряжением будет следить за работой с'езда. Слова эти оправдались в полной мере. Не было в стране ни одной социальной прослойки, ни одной общественной группы, которая в самой теснейшей своей среде, в самом дробном кружке, в семейной ячейке не повторила бы мысленно и словесно всех развернувшихся на с'езде споров. Та же борьба мнений, то же разделение симпатий. Беспартийные здесь не отставали от партийных.

Обойти или замолчать этот волнующий всех вопрос не может, не должен и наш журнал.

Трудно в беспартийном журнале писать о партийном с'езде, тем более о партийной дискуссии. Но разве не во стократ труднее беспартийным людям вести практическую работу—и хозяйственную и культурную—под партийным руководством, не уяснив смысла этого руководства, не оценив его государственной целесообразности? Исходя, может быть, из несколько иных предпосылок, растасовав и разложив факты и аргументы в несколько ином порядке, осмысливая и акцентируя их иначе, некоторые леса поубрав, некоторые новые мотивы введя,—не пробьемся ли мы к той генеральной линии, которая нам так жизненно нужна и для моральной устойчивости и для практического дела.

Обстановку, в которой собрался с'езд, можно исторически определить так: *малая программа* хозяйственного возрождения страны на базе национализованного революцией основного капитала вчерне закончена *пятилетием нэпа*. Новая советская пореволюционная Россия полностью овладела наследством старой царской дореволюционной России. Все поля засеяны, оцепеневшие маховики завертелись, оледеневшие сердца доменных печей расплавлены. Рабочие вернулись на фабрики и заводы. Производительность хозяйства приближается к уровню мирного времени. Закончена малая программа восстановления. Впереди—*большая программа* хозяйственно-культурного под'ема на основе не унаследованного, а благоприобретаемого основного капитала, электрификации, кооперации, всеобщей грамотности и сознательности—по замыслу Ленина. К осуществлению этого замысла страна вплотную придвинута *через два года после смерти вождя революции*. На рубеже между малой и большой программами строительства собрался с'езд.

Это определяло центральную задачу с'езда: найти наиболее плодотворные пути осуществления предстоящей большой программы. Задача должна была быть разрешена в двух планах: общеперспективном, рассчитанном на ряд лет (здесь возможно было дать лишь набросанную в крупных чертах систему руководящих принципов), и в плане эмпирическом, сезонном в широком смысле, исходящем из непосредственно данных показателей нашего хозяйственного положения внутри и действительных наших возможностей на мировом рынке. Оба решения—и ближайшее и перспективное—должны были быть непротиворечиво увязаны меж собой в двуединый органически цельный узел.

Уже сама проблема во всей ее конкретной сложности и принципиальной ответственности чревата бурными спорами, отражающими противоречивые тенденции переходного времени. А усугубляются споры сезонными трудностями—внешними (Локарно, финансовая блокада, попытки изоляции СССР) и внутренними (генеральный просчет с урожаем, товарный голод, соотношение городских и сельских цен, аграрное перенаселение и безработица, нехватка валюты, железа и топлива).

Как произошел т. н. генеральный просчет и каковы его следствия в условиях планового хозяйства?

Когда у крестьянина летом спросишь: «на какой вы рассчитываете урожай в нынешнем году?»—услышишь заповеданное еще от дедов: «цыплят по осени считают». Это—ответ не уклончивый (из-за продналоговых опасений), а самый искренний. При наших допотопных способах обработки и удобрения, при полной зависимости сельского хозяйства от состояния погоды, при бесплошадности (список неустроений можно было бы сколь угодно удлинить)—урожай для каждого порознь взятого крестьянского хозяйства представляет летом уравнение со многими неизвестными. Виды на урожай для того и виды, чтобы им меняться, а наши псевдо-

ученые баллы урожайности только правдоподобны; кто же не знает, что правдоподобие— худшая, коварная разновидность незнания. Если к неопределенному уравнению со многими неизвестными (а таковым в отношении урожая является каждое крестьянское хозяйство в отдельности) приставить 22-миллионный коэффициент, то ответ на уравнение от этого нисколько не облегчится.

Центр. Стат. Управление летом прошлого года, исходя из площади засева, баллов урожайности и 22 миллионов крестьянских хозяйств, установило валовой размер урожая— с подразделениями по всем видам злаков. Было высчитано, сколько хлеба останется в деревне для прокорма, сколько будет товарного хлеба, сколько избыточного—для нужд экспорта, какова покупательная способность населения, емкость деревенского рынка и проч. Совсем, как у немецких генералов в «Войне и мире»: «Die erste Rote marschiert, die zweite Rote marschiert». Тем временем прошел дождик, и чернильные цифры расплылись, тем временем мужик вывез на рынок овощи и фрукты (здесь оказался непредусмотренно блестящий урожай), тем временем крестьянин с продажей хлеба решил погодить: урожай, наперекор баллам, оказался только средний; после прошлых голодных лет вернее будет с резервом (о резерве мужик додумался первый, много раньше нашего) да и цены в переводе на сапоги, гвозди и ситец по их стоимости в низовой кооперации, или, что еще хуже, у частника—оставляют желать, да и городских товаров в лавках как кот наплакал: товарный голод...

Хлебозаготовительные же органы всячески форсировали закупку экспортного хлеба: надо было на мировом рынке опередить американский хлеб, и тем самым добиться более льготных цен. Но канадских фермеров с их индустриализованным хлебным производством, с автомобильной тягой, со множеством элеваторов, под'емных кранов, под'ездных путей нам обогнать не удалось. Хлебозаготовители прибегали к самым уродливым формам конкуренции: перехватывали в пути подводы, прорывали рвы на пути к ссыпным пунктам конкурента, «воздействовали» при помощи милиции, разыгрывали воз с хлебом в орлянку: покупателей десять, продавец один — кому достанется? — взвинчивали цены без нужды и без смысла. Назначение закупленного хлеба не было известно (не то для экспорта, не то для внутреннего рынка, не то в Киев, не то в Новороссийск, где под парами неделями ждали погрузки иностранные пароходы, а мы оплачивали все издержки). Накладные расходы росли, как закваска у печи. Само собой, что этой обстановкой довольно умело пользовался разбитной и пролазистый частник, который на хлебном рынке сколотил крупные барыши.

В расчете на богатую реализацию урожая и нехватку товаров, банки перекредитовали и госпромышленность, форсировавшую выпуск товаров, и хлебозаготовителей, форсировавших заготовки. Но виды не оправдались; в результате—переизбыток денежных знаков и колебание червонца, который к настоящему времени экстренными мерами, зажимом кредитов и проч. вводится в норму.

В соответствии с перспективами реализации урожая строились программы ввоза и вывоза. Предполагалось, что будет вывезено за-границу много хлеба, и ожидалась богатая выручка иностранной валюты. А это в свою очередь позволяло значительно раздвинуть программу закупок за границей, импорта. Но так как расходовать деньги много легче, чем выручать их, чем приходовать, то выполнение импортной программы упредило выполнение экспортной. Спешность закупок за-границей оправдывалась двумя соображениями: 1) для смягчения товарного голода надо ввезти отчасти готовые товары, отчасти сырье для спешной переработки в товары, 2) многие фабрики и заводы для усиления своей продукции требуют новых станков и машин; без хотя бы частичного пополнения машинного оборудования и инвентаря невозможно сколько-нибудь значительно увеличить выпуск товаров. Так или иначе мы завершили прошлый хозяйственный год с пассивным балансом, т.-е., с превышением ввоза над вывозом в 140 миллионов руб., и тем значительно ущербили наши валютные запасы.

Действительная картина реализации урожая перед созывом партийного с'езда обнаружилась достаточно отчетливо, и пришлось в спешном порядке вертеть обратно: пересмотреть бюджет, сократить по всей линии программы производства, торговли, эмиссии, экспорта и импорта. В настоящее время мы руководствуемся уже новыми программами и понемногу входим в берега.

В свете этих сезонных трудностей обратимся к перспективам нашего развития.

Мы видели, как крестьянин в борьбе за более высокие хлебные цены прибегает к испытанному уже в иной обстановке средству—к пассивному сопротивлению: задерживает у себя хлеб до последней крайности. Может ли, однако, государство, как экспортер, предложить ему более высокие цены? За годы войны—империалистской и гражданской—наша страна была выключена из мирового оборота. А ведь Россия поставляла треть всего мирового экспорта. За 10 лет нас прочно заместили по всем статьям вывоза другие страны. Достаточно сказать, что Соед. Штаты вложили в земельное хозяйство 41 миллиард долларов, что сбор пшеницы в Канаде удвоился и дошел до $11^1/_2$ миллионов тонн, что в Аргентине посевная площадь ежегодно увеличивается на полмиллиона гектаров, что масленый рынок почти монополизован Данией и Новой Зеландией и т. д. Былые свои позиции на мировом рынке Россия утратила, а отвоевать их вновь не так просто. Мы будем всячески стремиться улучшать качество наших

вывозных товаров, но ждать здесь очень скорых результатов при нашей технической и культурной отсталости, само собой, не приходится. Единственный реально возможный для нас козырь в состязании на мировом рынке это—дешевизна. Мы должны продавать свои товары значительно дешевле других стран, но как это возможно, если и при нынешних ценах мы по трем китам нашего экспорта—хлеб, лес, нефть—не достигаем рентабельности?

Необходимо снизить хлебные цены на внутреннем рынке. Для этого нужно изжить товарный голод, т.-е., в такой мере увеличить фабрично-заводскую продукцию, чтобы она насытила рынок, и одновременно настолько снизить цены на городские товары, чтоб они соответствовали по необходимости низким сельским ценам. Расширение фабрик и заводов диктуется и социальною необходимостью: деревня стихийно выталкивает в город людские лишки; «лишние люди» запружают наши площади, вокзалы, окраины, множат беспризорность, нищету, преступления, раздувают кадры безработных. Надо найти приложение труда для скитающихся неприкаянных людей, а это возможно, опять-таки, только на фабриках и заводах.

Все оставшееся в наследство от старого режима машинное оборудование уже до отказа загружено, к тому же оно избито, расшатано, конструктивно устарело. Старые машины надо заменить новыми, технически более совершенными, дающими более дешевый выпуск товара. Само количество машин надо значительно увеличить. Но машины пока что мы можем ввозить только из-за границы, за заграничное оборудование надо платить иностранной валютой, запасы которой у нас сильно ущерблены, а новую валюту можно заработать только на экспорте. Экспорт же возможен только при дешевых продажных ценах, а они требуют снижения внутренних цен. Мы, таким образом, возвращаемся к исходному пункту: к деревне и к ее молчаливой борьбе за высокие хлебные цены. Без дешевого хлеба нет новых машин; без новых машин нет товаров для обмена на хлеб.

Как использовывали наши тресты старое оборудование? Они стремились, по возможности, не отчислять аммортизационный фонд, а переводить эти суммы в оборот. Оборотный капитал, таким образом, подкармливался за счет основного. На потребу оборота пошли даже ликвидные хвосты, т.-е., подскребки старого основного капитала. С переходом в реконструктивный период придется проделывать обратную операцию: заимствовать из оборотного капитала в основной—на покупку машин и станков. Это неизбежно должно усилить заминку с оборотными средствами и повысить на известное время стоимость выпускаемого товара: стесненный в обороте производитель будет пытаться переложить расходы по оборудованию на свою продукцию.

В такой обстановке, если сюда не будут введены новые факторы, мы насытить деревенский рынок товарами не сумеем (опять на прилавке кот наплакал), предложить городские товары по низким ценам тоже не сумеем, а хлеб должны требовать, будем требовать по низким ценам обязательно.

Задачу можно формулировать так: социальный мир во что бы то ни стало при высоких, по необходимости, городских ценах и при низких, по необходимости, сельских. Скажут: но ведь это же похоже на квадратуру круга! Вот именно. Из этого узла и тянутся все нити дискуссии. Если б не было узла, то разве возможна была бы *такая* дискуссия в дисциплинированной коммунистической партии.

Правда» утверждала, что оппозиция не выдвинула единой принципиальной линии, не наметила никакого практического плана. Утверждение это справедливо и является, пожалуй, наиболее веским аргументом против оппозиции. В самом деле. Т.т. Зиновьев и Каменев предостерегали от кулацкой опасности и настаивали, по существу, на зажиме, торможении нэпа, поскольку он открывает дорогу капиталистическим элементам. *Торможение нэпа мысленно противопоставлялось углублению его*, которым, по мнению оппозиции, чреват нынешний хозяйственный курс. При этом *т. Зиновьев акцентировал*, главным образом, *политическую опасность, а т. Каменев—экономическую*. Зачатки тех же мыслей мы встречаем в давнишней речи т. Зиновьева о поучительном опыте перевыборов советов; перевыборы в несколько более демократической обстановке (на основе лозунга оживления советов) дали, как известно, на Кубани неожиданные результаты: кулачество оттеснило бедноту и угнездилось в советах; т. Зиновьев еще тогда подчеркивал рискованность расширения и углубления этого опыта. К с'езду т. Зиновьев преложил ту же мысль в развернутом виде. Теза т. Каменева на с'езде тоже была по существу расширенным комментарием мысли, высказанной в его речи еще летом, о небывалом экономическом усилении кулачества,—усилении, таящем серьезнейшие опасности. За одну скобку с оппозицией поставил себя т. Сокольников, но он высказывал мнения и в политической и в экономической плоскостях диаметрально противоположные охарактеризованным выше. *Т. Сокольников заявил себя сторонником углубления нэпа* с очень далеко идущим рвением. Что же общит его с другими оппозиционерами? Не принципиальные посылки и не практические выводы в политике и хозяйстве. *Не единство мысли* солидаризовало меж собой оппозиционеров, а *единство эмоции*. Какая это эмоция?—*Страх* перед неразрешимыми, как кажется, трудностями, перед квадратурой круга, чувство неизбежности каких-то коренных перемен, нервные метания в поисках единоспасательной отмычки сразу от всех зол и бед.

Торможение нэпа, как и широкое, гостеприимное раскрывание перед ним ворот одинаково

означает отступление. А отступление неизбежно связано с пессимистической оценкой. Наступление же наоборот, неизменно сопровождается оценкой оптимистической,—подчас даже бравурно оптимистической, преувеличенно самоуверенной. Такова уж неистребимая психология этих двух направленностей: назад и вперед. Вот откуда столь горячие споры о характере нашей госпромышленности и преобладающей черте всего нашего хозяйственного строя (госкапитализм или последовательно - социалистический тип). Споры эти всецело лежат в плоскости теоретической надстройки и психологической настроенности. Да будет посему нам позволено не очень углубляться в этот предмет.

Надо отметить попутно только одну характерную черту. Обе стороны согласно и усердно повторяли одни и те же положения:—«середняк—центральная фигура деревни», «кооперация—столбовая дорога к социализму», «не иначе, как через нэп», «вместе с бедняком и середняком против кулака» и т. д. После многократного, усердного и согласного утверждения всех этих аподиктических истин—споры вновь возгорались с удвоенной энергией. Производило моментами впечатление, будто спор идет даже не о словах, а об интонации слов. Повидимому, здесь сказалась неточность пределов понятия—кулак. То, что в одних устах звучало благожелательно и успокоительно: «середняк», то в сознании других отмечалось колюче-раздражительно: «кулак,—знаем мол этих середнячков!»

Оппозиция слишком широко *обобщила сезонные трудности*, и потому проглядела целое, из-за деревьев не увидела леса. Да, квадратура круга. Но эта задача неразрешима лишь в математике. Математика бессильна, например, разрешить проблему шахмат. Почему? Потому, что каждый ход противника есть неизвестный, наперед непредусмотримый суб'ективный его *выбор* из множества возможных сочетаний. Этот выбор вводит в борьбу *новые факторы*, меняет все расположение фигур на доске и при неостывшем следе полуразрешенной 1-й задачи ставит 2-ю, столь же подвижную, сопряженную теми же неизвестностями. Здесь есть над чем задуматься политикам, которые, не умея быть стратегами-шахматистами, пытаются стать математиками или, хотя бы, статистиками.

Там, где не возникает квадратуры круга—нет жизни; там, где не преодолевается путь наибольшего сопротивления—нет творчества. А в живой жизни, в органическом мире, с его борьбой за существование, с его сложными формами приспособления—квадратуры круга возникают и разрешаются ежедневно и ежечасно. То же в хозяйственной жизни, которая есть органический процесс в самом подлинном смысле слова.

Трудности реконструктивного периода, в который мы вступаем, ясны. Но вот рядом с нами Германия, Чехо-Словакия, Польша переживают жесточайший кризис сбыта. Товары—в изобилии, но для них нет платежеспособного рынка. В Германии, в порядке рационализации хозяйства, уже дошли до организованного слома избыточного количества машин, производящих орудия производства. А мы имеем внутренний рынок, который никакими силами не можем насытить, настоящую прорву. Разве ж само это при нынешней мировой хозяйственной обстановке не есть величайший козырь! Мы до сих пор не научились его должным образом использовывать.

Болдуин в ответ на запрос, что̀ правительство намерено предпринять для восстановления отношений с СССР, ответил: *вооружиться терпением*. Это значит—пересидеть нас, дождаться нашей капитуляции. Но в этом искусстве, право же, Болдуину (да и кому угодно другому) трудно состязаться с русским мужиком. СССР владеет ненасытным рынком, всасывающим товары, как губка воду. СССР вооружен кипучей активностью масс, настоящим азартом хозяйственного и культурного под'ема, единством воли и мнения (и это единство надо сохранить во что бы то ни стало!),—вооружен Красной армией и... терпением. Да, терпением. Это оружие действительней всяких сверх-дредноутов. Нам это компетентно раз'яснил не кто иной, как премьер Англии, т.-е., король дредноутов.

Резолюция партийного с'езда подтвердила, что мы не пойдем в иностранную кабалу, не поставим себя в положение колониальной зависимости, что в большой перспективной программе мы будем держать курс на индустриализацию страны, на превращение ее в самодовлеющий экономический комплекс, независимый от западных стран. Только при такой общей ориентировочной линии, рассчитанной на ряд лет, мы сумеем плодотворно разрешать ближайшие конкретные задачи.

Мы знаем, что ввезенный из-за границы автомобиль сто̀ит 15.000 р., а сделанный в СССР—100 тысяч, что обработка десятины сохой сто̀ит 5 р., а трактором—8 с полтиной. Что же отсюда следует?—Что мы должны строить *свои* автомобили и работать *именно* на тракторах. Разве ж не ясно, что только так, бросившись с мостков в воду, мы научимся плавать. И еще: только тогда, когда мы всерьез дерзнем, нам дадут за границей товары и кредиты не на кабальных условиях.

Помощи мы можем искать только внутри самой страны. Для этого нам необходима обстановка, которая бы действительно позволила развернуть производительные силы до отказа.

В линии производительных сил первое место занимает человек, его инициатива, его активность. Человек, добровольно и осмысленно участвующий в трудовом коллективе, а не баран из стада, не безличная стадно-статистическая единица. Инициатива и активность, а не

безответное рукоподымательское усердие, не законопослушное смирение. Только инициативно действующий человек есть по настоящему производительная сила. В этом смысле оживление советов и кооперации есть *хозяйственная* реформа. Ее не словесное только, а практическое проведение в жизнь даст нам во главе всех дробных хозяйствующих ячеек вместо принудительного ассортимента людей—выборных людей,—людей дела, имеющих настоящий хозяйственный опыт, пользующихся в своей среде и доверием и авторитетом. Волков бояться—в лес не ходить. Деревня в подавляющей своей массе не кулацкая страна, а середняцкая. Деревня культурно подымается. Ее общественность *под водительством города* не попадет, не может попасть в загребущие лапы мироеда.

Партийный с'езд постановил: наша госпромышленность, как она есть, есть уже осуществленный социализм. В эту оценку мы здесь условились теоретически не вдаваться, но она имеет и практическую черту. Постановление с'езда как бы говорит каждому рабочему: «Фабрики и заводы, на которых ты работаешь, принадлежат тебе и только тебе, твоему классу, твоему государству; никаких сторонних совладельцев здесь нет, нет никакой капиталистической примеси,—ты хозяин». Эта мысль, будучи усвоена, явится *мощным фактором производительности*. С какими трудностями человеку ни приходится спознаться в своем доме, в своей семье, он говорит: «Это—мой дом, мой харч:—когда бывает погуще, когда пожиже—не взыщу; я здесь хозяин: больше поработаю—больше наживу».

Тот же вопрос, но в соответственно иной постановке должен быть разрешен и применительно к крестьянству. Крестьянство должно себя почувствовать хозяином хлеба не только тогда, когда хлеб этот лежит у него в риге, но и тогда, когда он поступает в город, когда грузится в иностранные пароходы, когда продается заграничному импортеру. Пусть крестьянин через выборных доверенных людей своей крестьянской районной кооперации соприкоснется с мировым рынком и убедится не из агитки, которая его уж больше не убеждает и которой он не верит, а из непреложной опытной проверки, что низкие хлебные цены в СССР есть неотвратимая об'ективная необходимость, эмпирический закон нашего развития. Пусть крестьянин почувствует себя *коллективным экспортером* сельско-хозяйственных товаров, кровно заинтересованным в лучшем качестве зерна. Пусть крестьянская кооперативная общественность в теснейшем единении с государством и через его аппарат контролирует накладные расходы по экспорту, столь безобразно раздувшиеся и зачастую пожирающие всю возможную прибыль.

Частный торговец наживает свои капиталы на «разнице». Крестьянский коллективный экспортер будет добиваться своего благополучия и благополучия всей страны тоже на разнице, но совсем иной: на разнице в качестве зерна, на разнице накладных расходов, на разнице всей постановки дела—и землепользования и реализации урожая. Не пора ли, наконец, понять, что это и только это составляет разницу между убыточным и прибыльным экспортом. А ведь здесь—главное звено всей нашей хозяйственной цепи: прибыльный экспорт—значит жатва иностранной валюты, т.-е. новые машины, новые фабрики и заводы, для безработных — работа, для деревни — товары, для всей страны—ключ к индустриализации, к культурному под'ему на высшую ступень, для государства—полная независимость. Так разрешается квадратура круга в органическом процессе.

У нас появятся вместо крестьян-ходоков со слезницами—крестьяне ходоки на мировой рынок с образцами отборного полновесного золотого зерна, не как побирухи, а как хозяева. Проследив от начала до конца весь путь зерна, от засева до берлинской хлебной биржи, увидев постановку хлебного производства, транспорта, погрузки и продажи зерна в передовых странах, крестьянский доверенный ходок-кооператор в корне реформирует свое собственное хозяйство, даст живой пример всей округе. Он поставит производственную пропаганду так, как нам сейчас и не причудится, и уж само собой не так, как пришелец-чиновник, чужак на селе, без кола и без двора, при нищенском жаловании вынужденный промышлять свой хлеб больше неправдой, чем правдой.

В давнопрошедшие времена царская государственность имела опору в деревне в лице помещичьей усадьбы, которая на известной стадии была положительным фактором—и государственно-организующим и культурно-хозяйственным. Позже дворянство разложилось и стало исторически отрицательной силой. В начале революции мечтали заменить разветвленную сеть помещичьих усадеб—коммунами. Но опыт не вышел. Замена помещичьей усадьбы, церкви, церковно-приходской школы и исправника (этих четырех «оплотов»)—деревенским комсомолом и чиновником наиновейшей формации тоже не разрешает еще вопроса в достаточной мере. Надежным проводником советской государственности и культуры может явиться только подлинно широкая крестьянская общественность. А собрать ее в жизненный узел можно только на коренном интересе всего сельскохозяйственного производства и только на началах действительно оживленной кооперации, сообщающейся приводным ремнем с нашими банками, с об'единенным комиссариатом торговли, с Наркомземом, со всей центральной нервной системой советского государства.

Ряд мероприятий советской власти последнего времени почти вплотную подходит к поднятой выше проблеме. Организационное слияние комиссариатов внутренней и внешней торговли свидетельствует о глубоко осознанной

необходимости смычки внутреннего и внешнего рынков. Районирование республики по законам экономики, дополненное лозунгом оживления советов и кооперации, повышает авторитет и хозяйственную производительность мест. Резолюция пленума РКИ предусматривает материальное заинтересование крестьян в прибылях экспорта. А постановление пленума ЦК партии о внешней торговле, о создании в области внешней торговли более гибкой системы специальных торговых организаций, акционерных обществ, паевых товариществ и синдикатов подходит к намеченному вопросу уже почти вплотную.

Конкретизация вопроса требует определенной организационной наметки, но рамки настоящей статьи этого не позволяют. Мы рассчитываем вернуться к поднятой проблеме в отдельной статье в одном из след. номеров журнала.

Историческая заслуга 14-го с'езда в том, что сезонные трудности не затуманили его перспективной оценки генеральной линии нашего развития, не ослабили мужества партии вести страну вперед к дальнейшему росту и к органическому изживанию трудностей этого роста. Партийный с'езд решил усилить промышленность СССР, строить советскую республику, как самодовлеющий хозяйственный комплекс, питающий и снабжающий себя сам всем необходимым, как страну независимую от западного капитала. Ближайшую программу строительства решено опереть не на помощь извне, а на мобилизацию общественно-производительных сил внутри страны. Монополия внешней торговли с теми жизненными поправками, какие внес предс'ездовский пленум ЦК, остается в силе. Лозунги оживления советов, кооперации, профсоюзов получили дальнейшее углубление. При этом середняк страха ради иудейска не был скоропостижно перекрещен в кулаки; середняк был увязан в единую трудовую семью с бедняком и городским пролетарием.

Оценка нашего хозяйственного строя (последовательно-социалистический тип) позволила с'езду в отношении производительных сил деревни безбоязненно итти вперед; рабочему же дала необходимый идеологический упор для поднятия производительности труда. А ведь это все, что нам по-настоящему нужно. Нужно, чтобы рабочий и крестьянин, а, стало быть, и вся страна, живя в тех материальных условиях, какие сейчас об'ективно возможны, не чувствовали бы эксплоатации, а сознавали свою слитность с государством, с народно-хозяйственным целым—с под'емом которого и они подымаются, с упадком которого и они скользят вниз. Вот та своеобразная, добровольная «тэйлоризация», какая способна нас спасти от подневольной колонизации.

Могучий инстинкт жизни, бодрость, уверенность в восходящей линии нашего развития,—вот впечатление от с'езда. Дискуссия в иных своих поворотах отдавала букетом подпольного сектантства времен женевских мансард и кафе, но, к счастью, лишь в отдельных речах, в отдельные моменты. В целом же с'езд был проникнут государственной важностью стоящих перед ним задач. В этой линии особенно отрадно отметить выступление т. Петровского.

Нам, советским беспартийным людям, ведущим каждодневно практическую работу—и государственную, и общественную, и хозяйственную, и культурную—в теснейшем единении с коммунистическими руководителями и сотрудниками, существенно было констатировать, что с'езд в основном оказался в тяге событий, на магистрали истории.

Деревенская дискуссия

Проф. В. Г. ТАН-БОГОРАЗ и студент ФЕД. МАЛОВ

Предлагаемый ниже отрывок заимствован из очередного сборника «Революция в деревне» № 3, заключающий в себе работы студентов экскурсантов этно-отделения Геофака Л. Г. У.

Исследования ведутся уже четвертый год под руководством комиссии по устройству студенческих этнографических экскурсий, возглавляемой проф. В. Г. Таном-Богоразом, пишущим эти строки. Сборники выходят регулярно по два в год. Всего вышло шесть сборников.

Отрывок взят из статьи, написанной студентом Ф. И. Маловым, и относится к Ветлужскому уезду, Нижегородской губ. Я срезал начало и конец, и тем самым сгустил содержание.

Малов, как и другие его сотоварищи, фигура достаточно яркая. От роду ему 22 года. Но уже девятнадцати лет он был председателем сельского совета в своем углу. Полгода протрубил и ушел из деревни пешком, сперва в Нижний, по горьковской дороге. Там он состоял в сторожах по ночам, а днем учился. Когда он спал, не знаю, да это и не важно.

Проезжал через Нижний Луначарский и сманил Малова в Москву, в университет. Малов попал не в университет, а в Брюсовский институт. Но и прежнего дела не оставил. Состоял в сторожах, но уже чином повыше,—при Московском Этнографическом Музее. А там Брюсов умер, институт его, как водится, захирел, и пришлось Малову перекочевать и дальше—в холодный Ленинград. И тут он попал опять в институт—Географический. Но поелику Географический институт со всеми Маловыми вместе втиснули в Л. Г. Университет, то в конце концов и Малов добрался до университета. Все свои путешествия Малов совершил в одном и том же коротеньком нагольном полушубке. В нем он и предсельсоветил, в нем и сторожил, в нем

и учился и даже стихи сочинял,—понятно, стихи комсомольские, но не очень плохие, бывают и еще хуже. Овчина на полушубке белая. И на голове у Малова та же белая овчина. Одним словом, полная гармония.

Прилагаемый отрывок весьма характерен для данного времени. Он освещает так бесхитростно и четко знаменитую дискуссию,—недавно окончившуюся, а, может быть, еще и не окончившуюся—российскую сказочку в новейшем варианте на тему о трех братьях Иванах: об Иване-кулаке, об Иване-середняке и об Иване... дураке. Младший Иван, как известно, хотя всех беднее, но всех удачливее.

В деревне дискуссию ведут на сходе, и в выражениях совсем не стесняются. Воюют две партии—средняк и бедняк. Читаешь, и по совести не знаешь—которому сочувствовать. Кулака на арене не видно. Даже речистый Груздев только зажиточный средняк.

Можно пожалеть, что две эти партии даже без подзуживаний злокозненного кулака все еще свирепо воюют. Года проходят, и страсти ничуть не унимаются. И можно пожелать, чтоб средняк с бедняком, вместо того, чтобы бодаться лбами, тянули бы вместе эту новомодную сено-вспашную железную соху, трактор. А то он увязнет в полосе и не вытянешь его.

Тов. Малов, как ярый беспартийный комсомолец, конечно, всецело стоит на стороне младшего Ивана-бедняка.

К слову сказать,—у нас есть комсомольцы партийные и комсомольцы беспартийные. Такая уж линия нынче пошла,—беспартийно-партийно-комсомольская.

Я не стал бы оспаривать суждений молодого автора. Ему и книги в руки. Но вот подробность:—Величественный трактор пашет российскую тощую ниву по новому, по глубокому,—не трактор, а символ революции,—трактор пашет, а крестьяне умиляются. Автор же приходит в экстаз. Куплен трактор для мужиков на средства рогожной артели. Трудсоюз отпустил недостающую сумму и гарантировал безубыточность. Одним словом—иждивенческие жареные голуби, летящие сверху в раззявленный рот бедняка.

Но почем же обходится десятина пахоты?—«Вспашка трактором обошлась за десятину 8 с полтиной, а вспашка лошадью стоила 5 рублей. Виною этому чересполосица»,—об'ясняет Малов.

> Кто виноват, кто прав, судить не нам.

Еще одна подробность: вот кооператив, а, по старому сказать, потребиловка. Так называют ее и теперь крестьяне. Да и заведует ею И. М. Малов, родственник автора, тоже человек старой закалки.

Автор рассказывает об этом кооперативе неслыханные вещи. В полгода он сорганизовал 2.500 чел. Но вот беда: средний оборот кооператива в месяц—30 р., стало быть, на одного человека в месяц приблизительно одна копейка обороту.

Копейка в месяц, ведь это чеховская маленькая польза.

Все это, конечно, образуется. Когда заводили железные дороги, то рядом крестьяне возили дешевле гужом.

Такова наша планида самобытная.

> Не пойдет наш поезд, как поезд немецкий,
> То соскочит с рельсов с силой молодецкой,
> То разрушит насыпь, то мосток продавит,
> То на встречный поезд ухарски направит.

Стихи эти писал Добролюбов. В то время «народники» воевали с железной дорогой. А «западники» защищали железную дорогу. Добролюбов же высмеивал и тех и других заодно. Все-таки в конце концов мы ездим по железной дороге, хотя и не без того,—случается, сходим с рельс.

Так же, должно быть, запашем на тракторе и даже на аэроплане полетим, несмотря на то, что

> Две старухи говорили:
> Черт рапланию несет.

Летать на аэропланах, конечно, обходится дороже, чем ездить гужом. А еще того дешевле расхаживать пешком и даже босиком. И землю пахать дешевле сохою, чем трактором, а еще дешевле ковырять ее просто древесным суком.

Русские ковырялы запахали на тракторе—по 8 рублей с десятины.

Таков современный итог российской революции.

* * * *

Сход, как и всегда, происходил на середине деревни против избы Груздева. Обросшие волосом, в пестрядине, мужики переругивались «сторона со стороной». То и дело заметишь: сын-комсомолец—за бедняков, отец-середняк—против. Груздева еще не было, а без него такое серьезное дело обсуждать никто не решался. Его мнение всегда было решающим. Груздев—это представительный и крепкий крестьянин, лет 55-ти, лысый, с орлиным носом и со звонким баритоном. Он живет богаче всех угловцев, в просторном, крепком доме. Его хозяйство самое большое во всей округе: четыре коровы, лошадь, бык, несколько свиней и около двадцати штук овец; земельный надел—десять десятин одной пашни в поле и множество полян

в лесу. При царе он девять лет был волостным судьей. Он хорошо грамотный и знает законы, этим он и завоевал себе в обществе такое твердое положение. Груздев пришел на сход. Мужики приутихли. Узнав, в чем дело, он спросил сходку, что думает общество по этому поводу. Так он всегда начинал. Середняки, как один: «К чорту их со своей уравненией», бедняки в ответ: «Не имеете права отказать... мы по закону».

— По закону-у-у! — передразнил их Груздев и как только все смолкли, сжав кулак, со сверкающими глазами начал речь:

— Что вы не обращались к закону до революции, бесштанные сволочи? Почему вы тогда побросали земли, когда мы их кровно выкупали и платили за них податя? А теперя ни налогов на вас нет, с вас ничего не спрашивают, так и хорошо вам даром брать землю. Все равно и сейчас потешит, потешит вас власть да и бросит лентяев...

Комсомольцы, во главе с С. В. Поповым, торжественно развернув декрет, прочитали его и спокойно заявили обществу:—Если сход не согласится на уравнение честью, то мы обратимся в уездный земотдел. Это было неожиданно. Бедняки раньше всегда подчинялись решениям схода. В земотдел!.. Кто может поручиться, что они не докажут про малую толику землицы, скрытой за чертой поля, да и скотины «непрописанной» тоже найдется кое у кого. Права бедняков отчетливо и ясно обозначены в законе, а руганью да шумом на сходе на этот раз запугать их не удалось. Видя дело окончательно проигранным, Груздев рассвирепел.

— Все равно вы, как гниды в штанах, зачахнете и никакая власть вас не обогатит. Вы пьете нашу кровь и бремем сидите на шее у власти,—отчеканивая каждое слово и особенно ударяя на слове «власть», заключил он свой выпад и принялся за комсомольцев.

— Природа восстала против вас, жижа навозная, все умершие до девятого колена заскрипят зубами в могилах... Вас, как вредных червей, в мокроту раздавить бы следовало... но время... но отвечать... Что власть, власть в самом народе...—Позеленев от злобы и дергаясь всем телом, он не мог найти слов. И вдруг тихо, как пила скрипит по железу, прошипел Попову:

— Серега, ты восстановил против себя все общество, тебя могут поджечь, тебя убьют где-нибудь в овраге, как лягушку, и ты пропадешь, сгниешь, как куча навоза под яблоней. Ты восстал против общества!

Он повернулся и ушел, не дожидаясь конца сходки. Но бедняцкая партия не растерялась. Попов написал протокол и зафиксировал:— «Согласно постановления общего собрания Лалакинской земельной общины, произвести уравнение «дворин» между отдельными домохозяевами не позднее двух недель со дня постановления».—Через неделю переделили, т.-е. перемерили усадьбу, взяв за норму 1.100 сажень, и прирезали всем, у кого было меньше этого количества.

Груздева при уравнении не было. Не было и некоторых комсомольцев из середняцких семей. «Богоспасаемые родители» перепороли несчастных «ослушников» и они не смогли даже выйти из дому. Многовековая неувязка с усадебной землей разрешилась. Но борьба в обществе за равноправное пользование полевыми и лесными угодиями, — с виду скрытая — а на самом деле «не на жизнь, а на смерть» продолжала разгораться все больше и больше.

В июле этого года (1925) я почти в один день получил два письма: одно от Груздева, другое от секретаря ячейки. Груздев писал, что возвращенный государством лес «общество» (конечно, его середняцкая сторона) думает разделить «по-старинному», т.-е. как было до революции. Он спрашивал моего совета и в заключение просил меня взять на себя ходатайствовать перед ВЦИК'ом по этому поводу, указывая, что «обидно» делить лес по едокам, т. к. при выкупе его у помещиков прежними пользователями «были заложены жены и дети». Я без гнева и возмущения ответил ему, что переданный государством земельному обществу лес не может быть поделен между хозяйствами, а должен сохраняться, как фонд и расходоваться в установленном порядке по мере нуждаемости каждого домохозяина. Ответственный секретарь ячейки РЛКСМ писал: «... кулацкие прослойки категорически решили разделить лес по старому и, в случае несогласия бедняков, проектируют отделить им в одном месте некоторое количество дореволюционных десятин. Мы же настаиваем или разделить лес по едокам, или же пользоваться коммуной; кому сколько нужно, то и давать с разрешения особых лиц, которых выделим ведать этим!..» Я отписал отсеку, что мнение его правильно и посоветовал провести его в жизнь.

Также нелепо проходил в Углу и раздел пашни—ни по хозяйствам, ни по едокам. Пользуются пашней так, чтоб и «с рук сходило» и поменьше брали бы «друг друга за глотку». Бедняки настаивали на разделе по «едокам». Это создало некоторые осложнения в обществе. Ведь отрезав землю у середняка, бедняк все равно не сможет ее обработать. Арендовать середняк у маломощного принципиально не станет, так как имеется много пригодных для запашки урочищ вне полевой черты, земля эта сейчас все равно пустует. Земельный вопрос в Углу до сих пор так и не разрешен. Вновь возрождающаяся промышленность края расхолаживает рвение бедняков к хлебопашеству. Хлебопашество им менее выгодно, чем лесные и кустарные работы.

До революции кустарное дело хотя и не было кооперировано, но все же шло на лад. Теперь при кооперации кустарей оно развивается еще лучше и сулит хорошую будущность.

На Ветлуге имеется прочный союз лесных трудовых артелей. Он об'единяет собой все виды местной кустарно-химической и деревообделочной промышленности. Возникнув в 1920 году, он за период НЭП'а расширился и окреп до небывалых для старорежимных лесопромышленных обществ размеров. В его ведении находятся все лесопильные заводы края, все химические заводы и другие предприятия. Он заключает договоры на выработку и доставку всевозможной продукции, с правлениями железных дорог, государственными организациями и кооперацией. Возглавляемый лучшими коммунистами губернии, за весь период своего существования он не имеет ни одного случая бесхозяйственности. Каждый годовой отчет говорит об улучшении и росте союза. С каждой весной все больше и больше дородных белян и громадных сойм *) проплывает по Ветлуге вплоть до Астрахани. Борта их не пестрят вывесками—«господ лесопромышленников братьев Верховских и К».—На них красуются серп и молот—эмблемы труда и красные флаги на «гулянках».

В 1924 году «Трудсоюз» предложил С. В. Попову организовать в Углу рогожную артель. Так как рогожным делом нигде, кроме Угла, отродясь не занимались, а Угол по этой части имел вековой опыт, то Попову нетрудно было создать артель стосковавшихся без работы рогожников. Почти весь безлошадный элемент записался в члены артели и работа закипела. К сожалению, я не могу здесь привести цифровые данные о росте артели, но из слов С. В. Попова знаю, что за одну зиму работы артель дала 1.000 рублей чистой прибыли. На организацию ее не было затрачено ни копейки. Весной 1925 года артелью было организовано потребительское общество. Потребиловка—как здесь называют кооператив—пока еще очень бедна: основной и оборотный капиталы составляют 425 рублей, средний оборот за месяц 50 рублей зимой, 30 рублей летом, кооперировано 2.500 человек.

Председателем рогожной артели, счетоводом и секретарем ее состоит С. В. Попов, председателем кооператива — крестьянин - середняк Иван Михайлович Малов, энергичный общественник, хотя человек «старой закалки». Он не может сидеть сложа руки и не терпит «расслабленности». Поэтому он «дышмя дышит» на свою пока еще слабую «потребиловку».

Как артель, так и потребиловка явление для Угла совершенно исключительное.

Предприимчивый Сергей Попов настоял на том, чтобы члены артели на тысячу рублей прибыли постановили приобрести трактор. Трудсоюз помог в этом Лалакинской артели, отпустив недостающую сумму; покупка формально произведена от имени Трудсоюза, который согласился, в случае убыточности трактора для рогожников, взять его для себя.

С. В. Попов о тракторе мечтал давно. Он давно проектировал после покупки трактора устроить общественную запашку и перейти на многополье. Вести борьбу впустую, одними словами было бесполезно. Теперь же, в случае нежелания крестьян сообща обрабатывать землю, он организует небольшую сельско-хозяйственную коммуну, и на деле докажет правильность своих мыслей. Все это для Угла весьма большое вольномыслие, если принять в рассчет чахлую угловскую экономику. Но трактор—машина верная, сам за себя постоит.

Прибытие трактора в этот ветлужский Угол по своей шумной торжественности не уступало «входу господню во Иерусалим». Представители сельсоветов, Трудсоюза и рогожной артели выгрузили трактор с парохода на Воскресенской пристани; унылую окрестность прорезала звонкая чечетка машинного хода, гулко рассыпаясь по лесному затишью. Встречные лошади, храпя и ломая оглобли, шарахались в стороны. Стада, гулявшие на полях, задрав хвосты, с ревом бежали к опушке. Весь народ, с оравой ребятишек впереди, сопровождал чудовище. В шествии участвовали все члены ячейки с красным знаменем. Вот трактор в'ехал на двор сельсовета деревни Лалакино. Через два дня, в воскресенье, назначена проба. С уст всей округи не сходила молва о «паровой сохе-самопашке»; пустословию старух и стариков не было предела:

— Охти, чово после энтова добра ждать. Няпременное провозвестие второва пришествия...

— Да и на двор еще пустили, рядом со скотиной. Ведь нечистой в нем!..

— Еще бы, непременно самый главный...

— Возьмет он да и вылезет из самовара (трактора) и не увидишь, как невиновную скотинушку опоганит...

Старухи в ночь обошли свои дворы «с воскресной иконой», чтоб в случае «окаянный» не перешел и к ним. Двор, где стоял трактор, ломился от «паломников»—приходили мужики, молодежь, женщины и без конца дивились, как на «чудо невиданное». Одни мужики говорили что он, как птица, летит, а землю разбрасывает на чужую полосу. Другие говорили, что такой «тяжести» не поворотиться на полосе, или, мол, увязнет и не вытащишь. Груздев пришел к самой ночи, осмотрел, расспросил подробно техника и ушел недовольный: «Я думал, что ни черта не получится,—ну, и ошибся».

В воскресенье утром, как только пробарабанил пастух, десятник, стуча «падогом» по окошкам, созывал «на улицу». Обычно так лениво собиравшиеся на сход мужики теперь высыпали все, как на пожар. Из всех деревень Угла собрались мужики и бабы раньем-ранешенько, даже дома стеречь было некому. Какая-то баба, подобрав подол выше колен, кричала на мальчика, стараясь его догнать и выдрать.

---

[1]) Сойма—плот длиною от 100 до 250 саж., шириною 10 сажен, и глубиною до 12 четвертей, с двумя «казенками», избами для сплавщиков.

— Толька! Иди, говорят тебе, холера окаянная, в избу. Мо-о-три, я тебе!—Мальчик плакал и не хотел идти.

Толпа галдела и теснилась. Техник в кожаной куртке загадочно возился с кранами и фитилями. Любопытство толкало народ, полошило, сеяло суматоху. Каждый хотел пощупать блеск гордой машины, постучать пальцами по новенькому железу. Незаметно для собравшихся техник включил ток. Мотор резко и звонко, как молодой жеребенок, «зацоцокал», весь вздрагивая. Толпа шарахнулась в сторону; затыкали уши, дети визжали, бабы ойкали. Мягко по пыльной дороге покатился трактор к паровому полю. Старики неистово закрестились, комсомольцы грянули Интернационал (по местному «Тирценал»).

— Не иначе, ведьма тутотка имеется, да зубами скрипит от злости,— ехидно шамкая беззубыми ртами, говорила кучка старух. Отойти бы подальше, а то так плюнет, что и крещенской водой не смоешь потом.

— Полно вам, старые редьки,— успокаивал их предсельсовета, догоняя процессию,— сами вы плюетесь, а поди, и не знаете на что. Брехать бы только...

Какой-то «невидимый художник слова» тут же сложил частушку в своей неделями нечесанной голове и выпустил на волю, как птицу из клетки. Она поднялась высоко и запорхала из уст в уста.

Две старухи говорили:
Чорт рапланию несет,
— Ведьму в трахтыр посадили,
И она его везет.

Мужики, идя за трактором, весело переговариваясь, мерили его силу:

— Небось, и десяток наших клячуг не остановят такую силишшу.

— Куда тут с лошадьми лезти...

— За гору зацепи, так своротит, не то што бы лошадь,— сказал Егор Николаев, с бородой, похожей на охапку сена, член артели.

Богатый крестьянин, Евдоким Дементьев, у которого погорело все имущество, и скот, и лошадь, точнее, бывший богатый, грустно заметил:

— Поди-ка, этот жеребенок и в огне не сгорел бы. И до чего только народ не дойдет!.. Легко ли сказать... без живой силы движетца...

У заросшей травой и непаханной годов шесть «луговины» трактор остановился, спустил лемехи, проехал саженей пять, взломав два пласта душистой дерновой земли, и стал.

Произнесли речи:— Попов, техник и предсельсовета. Последний от волнения заплетался языком. Вот его речь:

— Хресьяне-граждане, это такая штука... машина то-есь, штоб пахать завместо лошади, стало быть... только она никогда не устанет... для энтова она и из железа поделана, штоб стало-быть лошади выносливей... она сичас пахать станет—и т. д.

Когда он кончил, комсомольцы грянули:

«...Мы кузнецы и друг наш молот,
Куем мы счастия ключи»...

Волнующий, непривычный напев плескался по полосам, заросшим бурьяном, на красный кумач знамени и пестрые сарафаны мягко струилось золотое вино солнца. Жаворонки, не пугаясь «чудовища», переливались в выси и все кругом чрезвычайно не вязалось с суровым видом машины—знакомое место трудно было узнать.

Когда трактор, пыхтя и покачиваясь, резал пустырь, отваливая струи мелкой земли, молодежь оживленной гурьбой бежала за ним. Мужики, не сводя глаз, с достоинством хвалили работу— «и боронить, мол, пожалуй, лишнее». Лохматый мужик с постным лицом вздохнул:

— Это тебе не дубовая палка. Гляди ты, как порет...

— Глубина-то какая— мели не видно, а ширина тож очень подходящая.

— Григорий Сидрыч,—обратился Егор Николаев,—намедни ты чалке плечо обтер, ну а этот шалишь... с настоящим железным плечом...

— Да,—сказал Григорий Сидорыч,—и чего только с сохой тянули?..

— Тоже орудия прозывалось!..

— Писарев, а Ванюх, ты што, чай изрубишь соху-то... хош бы на поглядок оставил...

— Изрублю,— отвечал лысый, с совиными глазами старик,— изрублю, штоб и память мне не мозолила, дави ее мать...

Вспахали десятину луга. И потом еще восемь дней пахали на Лалакинском поле; сначала безлошадным подняли пар, потом и всем остальным.

Стоимость вспашки трактором одной десятины обошлась в 8 руб. 50 к., запашка лошадью стоила 5 рублей,— виною этому чересполосица. Много времени идет на постоянные повороты и отпашку с межи.

Когда трактор снова поступил в ведение Трудсоюза, оставив лишь на память выдавленную зубчатку в дорожных колеях, молодежь с грустью расставалась с ним, даже частушку сочинила такую грустную:

Стой ты, туча, не грусти
На небе полуденном.
Трахтор, боле погости,
С урожаем будем мы.

Госшапка

И. ЛЕЖНЕВ

Человеческое, слишком человеческое.

Нами оставляется от старого мира—
Только папиросы «Ира».

Так верит баян Моссельпрома — Маяковский. Мы же, простые смертные, с солнцем не беседующие и «про это» не рассказывающие, видим вокруг себя еще кой-какую малость разной густоты настоя и нормального градуса крепости, оставленную и от старого мира, и от старого быта, и от старой культуры.

«Ира» продается на каждом углу. На торговце—форменная шапка с раздельно вышитыми буквами: Моссельпром. Дальше идут красные шлемы с надписями «Красный коробейник», ларьки «Красный конфетчик». Шапки, шлемы, ларьки. Ларьки, шлемы, шапки. Разных окрасок, разных трестовских фирм.

Госларешник торгует по прейс-куранту, имеет свой процент с оборота. А частный торговец мануфактурист? После разлива спекуляции на товарном голоде—и он введен в норму: тоже торгует по прейс-куранту, тоже получает свой процент с оборота. Частник нынче так же нормализован, как и госларешник. Они сравнялись, смешались. Так где же линия раздела между госларешником и частником? Ее частник не видит. Сейчас он плачется на судьбу и мечтает о... «шапке». Он говорит: «Я глупо устроился. Зачем я вкладываю в дело деньги? С деньгами и дурак дело сделает. Надо без денег. Зачем я числюсь нэпманом, гражданином второго сорта, клиентом фининспектора, кандидатом в Нарым? Надо без нарыва и без Нарыма. Надо с профкнижкой».

И тоскует нэпман о сказочной шапке-невидимке. Шапка пестра, ярка, буквы бьют в глаза, а нэпмана под ней не видно, не стало. Под шапку все спрятано, все концы смотаны; наружу высмыкается разве что завалящая «Ира».

А космический Маяковский глядит сквозь свои телескопы в международном и даже в межпланетном масштабе и видит:

Нами оставляется от старого мира—
Только папиросы «Ира».

Нет, по нашему времени телескопы—глупый струмент. Требуются микроскопы. Изменения идут молекулярные, сокровенные, интимные. Под благодетельной завесой невидимки.

Вот картина почти что символическая. За столом сидят пять откормленных, лощеных, самодовольных рож. Пять шаров раздувшейся брюшины держат в тесном об'ятии стол. На столе, покрытом белоснежной скатертью, уютно пофыркивает самовар. Каждый из пяти вытаскивает из бокового кармана профкнижку и кладет подле себя. Затем—немая сцена—переглядываются и хохочут.

О, теперь они «поумнели». Два года назад они были «глупы», «несознательны». Они числились нэпманами и имели все неприятности, начиная от уплотнения, кончая болезнью печени. Но за одного битого двух небитых дают: они поняли, что не избежать дополнительного расхода производства—страховки. И устремились за профкнижкой, как за страховым полисом. Теперь они высоко держат профкнижку, почти как знамя, как стяг. Уменьшились барыши? Возможно. Но нео-нэпман по-своему верен лозунгу: «Лучше меньше, да лучше».

Эти нэп-тройки, нэп-пятерки перешли на вторую, высшую ступень приспособления, нашли новую, более совершенную защитную окраску. Один пошел на хозработу в качестве спеца. И ВЦСПС и Наркомтруд единодушно постановили, что в работе спецов надо премировать те факторы, которые непосредственно отражаются на прибыльности дела. Нэпман истолковал это житейски, по-своему. Быть маленьким участником прибылей большого дела, не вкладывая при этом никаких денег? О, это очень кстати. Один ухватился за звено тантьем, и на этом «пролетаризовался»; другой пошел в агенты, в комиссионеры; третий подал госучреждению «интересную торговую идею», работает, как инициатор, по договору и причислен к лику организованных; четвертый прямо пошел в госслужащие по завету: «на гос надейся, а сам не плошай». А кооперация, а лже-кооперация? Какие безграничные возможности открывает она!

Мы все *служили* понемногу
Чему нибудь и как нибудь...

О всяческих злоупотреблениях в кооперативных торговых представительствах мы немало слышали в последние месяцы. Скоропортящиеся товары, мелочники-покупатели, без двойной итальянской. Затем традиционные уже—разница, усыпка, усушка...

Сыплется из дряблых рук, усыхает у нерадивого хозяина, но не таков наш новый скоропостижно «пролетаризованный» нэпман. Он хорошо усвоил идею, что кооперация—«столбовая дорога», но, кроме этой благоприобретенной идеи, у него еще немало своих, ибо этот человек прошел огонь, воду и медные трубы, а идеи шевелились в его мозгу и под замасленным картузом, и под буржуазным котелком, и под красноармейским шлемом, и под нэп-котелком, и под нео-нэп-котелком и под «госшапкой». Единственно, чего он всерьез боится—это как бы кооперация не обернулась для него столбовой дорогой к... Нарыму.

Мне говорил один «новообращённый» (из частников) одессит, разводя в сердцах короткими ручками:

— *Чего вы хотите от меня,—чтобы я был идеалистом!? Нет, я не идеалист. У меня жена, дети. Я себе маленький нэпман. Вы слышали о рыбьем жире? Рахитичному мальчику доктор прописал рыбий жир. Но это же невкусно— тьфу!—паскудство. Так мама ему говорила:* «Выпей ложку, я брошу для тебя в сберегательную шкатулку копейку». Мальчик пил каждый день—что можно делать? копейка пригодится. А когда в шкатулке накоплялось довольно, а мальчик спал, мама вынимала деньги и покупала... рыбий жир. Это же почти как perpetuum mobile. Весь наш заработок— это копейка в шкатулке. Когда наполнится, наша советская мамаша выймет, чтобы опять был рыбий жир. Но мальчик от рыбьего жира поправлялся, а я—посмотрите на меня!—я же— чахотка. И у меня уже больше не было сил платить налоги. Вы думаете: фининспектор— так это приятно? Вы думаете, эта профкнижка *мне* нужна?—она *им* нужна! Когда иначе нельзя жить, так что же делать. Нет, нет, нет, я не идеалист и не выдаю себя за идеалиста. А посмотрите на других. Корчат из себя целых политкаторжан...

Так всякий одессит сотворяет себе свою портативную, передвижную, как брезентовый ларек, «философию эпохи».

Что же делает, однако, частник, когда не удается заполучить страховой полис—профкнижку, когда не пролез под госшапку, чтобы уютно в тепле копошиться и на невидимых комбинациях зарабатывать свой пролетаризованный кусок булки с икоркой и маслом? Он устремляется к другой невидимости. Из центра передвигается на периферию, в уездный провинциально-наивный городишко. Входя в маленькое, приземистое почтовое отделение, он гордо возглашает: «Отсель грозить мы будем шведу!» В Москве работает его компаньон, имеющий «связи». Кстати, «связи» котируются ничуть не ниже профкнижки. Когда то говорили: «Не имей сто рублей, имей сто друзей». Позже, когда люди стали циничней, поговорку обернули: «Не имей сто друзей, имей сто рублей». Теперь говорят: «Не имей сто рублей, имей друзей в СТО». СТО, конечно, слишком высоко, ненужно высоко для нэпмана,—там ведь обобщают, а ему нужен конкретный рублишко. «Связи» в тресте—великое завоевание нэп-эволюции. Компаньон всякими правдами и неправдами получает драгоценнейший товар и многими мелкими посылками во многие условленные адреса отправляет товар в уезд. Так обходят жесткую разверстку по районам. Данному уездному городишке положено два вагона мануфактуры, товару не хватает; уком и уисполком заседают до рассвета, идут прения; хлопочут, нажимают на центр, добиваются бо́льшего отпуска—выторговать хотя бы еще полвагона. В это самое время нэпман поворачивается на перине и видит второй сладчайший сон, а утром по многим адресам получает очередную партию товара—посылочками. Посылочка к посылочке—за месяц, глядишь, и вагончик набежал.

Не уместившийся под госшапку частный капитал передвигается в уезд, там ширится, пухнет, растет, и учету едва поддается.

По учету тех же нашумевших контрольных цыфр Госплана, например, обороты частного торгового капитала составляли в 1924/25 г. 26,3%, а в в 1925/26—только 24%. Обороты частника за год, таким образом, сократились на 2,3%. Но в контрольных цыфрах речь идет об оборотах видимых, регистрируемых, поддающихся учету. Как же учесть невидимые обороты, утайку частника под госшапку, его «пролетаризацию» и n + 1 его махинаций? Ведь он ускользает, тает наружно, ныряет под госшапку тем быстрее, чем усердней шарят по рынку статистические прожекторы. Старая воровская штука—смешаться с преследующей вора толпой и вместе с другими истошно вопить: «Лови его, держи!..»

Частный капитал, подчиняясь закону наилучшего приспособления, вгоняет себя во внутрь организма государственного хозяйства и вносит туда свою «посильную лепту»: свои методы работы, свою мораль, свою этику. Пока он пребывает во вне—это, быть может, мало желательная, но тем не менее полезная необходимость нашего роста. Когда он проникает во внутрь, пред нами ничем не оправданное зло: невидимая работа разносящего болезнь хозяйственного микроба

Это напоминает дурную болезнь: гонорею. Гонорейные микробы—гонококки—если не изолировать их заблаговременно, приживаются к организму заболевшего человека, акклиматизируются в его внутреннем тепле, ассимилируются в нем. Запущенная болезнь принимает хроническую форму, со всеми ее грустными последствиями, вплоть до импотенции.

Когда строится рабочий дом, и в интересах хозрасчета, в виду низкой платежеспособности рабочих, в дом нарочито поселяют нескольких нэпманов, чтобы за счет их высоких платежей свести концы с концами, то эти нэпманы в занимаемых ими клетушках—разве не дают живого образа гонококка? К счастью, в рабочем доме они на виду. Их шевеление под шапкой-невидимкой много опасней.

Вряд ли такая форма приспособления кого бы то ни было, кроме завзятых пройдох и хапуг, всерьез устраивает. Даже мой одессит—и тот недоволен ни собой, ни своими соседями:

— Корчат из себя целых политкаторжан!..

„Булка-Востока“.

На углу Б. Никитской и Тверского бульвара— турецкая булочная.

Турецкая булочная в угловом помещении с уютным теплом, кисловатым запахом квашни,

с доброй скучноватой тишиной, с изогнутой спиной Абдул-Махмета на табурете, с красной феской и чубуком—входит в круг моих воспоминаний детства и южной провинции почти с той же принудительностью, что Евтушевский и Кирпичников. С детства знакомая картина, но я никогда не думал, не гадал, чтобы над лавкой была возможна вывеска:

— Булка Востока.

Да, именно так: «Кооперативное т-во Булка Востока».

Есть «Университет народов Востока»; есть освободительно-революционное движение Востока, есть «Руки прочь от Китая». Но чтобы гигантский символ Востока сочетать с буднично-уютной булкой,—даже не с хлебом, а именно с булкой,—на это способен только наш неоэп, порождающий и свои символы.

Под шапкой кооперации к теням великих образов прилепляются мещанские вкусы, разведчики мещанских аппетитов.

Что поделаешь!—закон мимикрии. Какие бы делишки ни затевались, надо обложить их гарниром благонадежности. А под хорошим гарниром, как известно, и жучка проглотишь, не поморщишься. Такова уж новоявленная *эзоповщина* нашего *быта*.

Можно в кинематографе, на экране, притягивающем магнитом миллионы глаз, подавать махровейшую романтику средневековой придворной жизни (напр., «Анну Болейн»), но ежели в надписях изругать этих извергов—помещиков, князей, королей,—то все благополучно. Нет нужды, что надписи эти так же идут к картине, как корове седло или как булке предикат Востока, что публика только иронически пожимает плечами от этакой подачи «германских зверств»,—сие недостойно внимания. Были бы соблюдены конвенансы... Эзоповщина быта справляет свой дешевый праздник.

Зоркий Эренбург озаглавил один из своих рассказов:—Пивная «Красный Отдых». А одна дама—ответственнейшая жена,—перелистывая новенький календарь 1926 г., сетует: «Какая досада! Первый день пасхи—2-е мая. Надо праздновать 1-е мая в страстную субботу. Когда же я буду говеть!»

Умер видный советский работник. Местком хочет похоронить его по гражданскому обряду, но старушка-мать никак на это не соглашается. Покойный Павлуша был ее единственным сыном,—и ее единственного отнесут без отпевания. Не бывать тому! Долго идут споры, увещевания, переговоры. Наконец, компромисс найден. Павлушу отпевают в церкви, а вся гражданская процессия ждет во дворе. Последняя ступенька церкви—нейтральная зона. Когда с гробом переступили последнюю ступеньку,—покойник во власти месткома. Простуженные трубы оркестра с хрипотцей грянули «Вы жертвою пали»... Затем венки, красные ленты, красные знамена, стройные ряды, как на демонстрациях. На кладбище над свежей могилой речи о строительстве, которое налаживается, о злокозненном Амстердаме, о победе нашего Интернационала. Речи, хоть и знакомые, но искренние, горячие, взволнованные. И жалко Павла Никитича—хороший был человек, способный самоотверженный работник. И жалко старушку-мать и плачущих женщин. Но как удержаться от смеха, когда за памятниками, за деревьями, видишь—маячит фигура попа, усердно раздувающего кадило: он ждет своей очереди...

Так заполняется наш быт помесью нижегородского с французским,—православного с коммунистическим, сурово-трезвенного с разливанно-пьяным, густопсово-рваческого с общественным, приземисто-малого, обывательски-мещанского с возвышенно-торжественным.

Воистину, *бронзовый век*—смешение литой меди с рыхлым оловом. В одном случае это смешение невинно, как курьез быта, как анекдотическое явление извечного нашего российского провинциализма, а в другом это уже нарочитая привычка, возведенная в систему,—именно в систему эзоповщины быта.

* * * * *

Посмотрите на иных наших спецов (встречаются и такие типы, особенно на верхах) в душе белее снега, чернее сажи. Эта особая раса тем усердней кажет наружу свою лойяльность, чем черней и белей она внутри. Они усвоили все манеры и замашки, какие полагаются по штату и приличествуют случаю. Так и сыплют горохом всеми стандартизованными словечками и штампованными оборотами речи. Они умеют раздувать прожекты в духе времени; по нашей советской манере раз'езжать несколько больше, чем этого требует дело—и обязательно с чемоданоподобными портфелями, по последней моде; умеют создавать комиссии и перманентно заседать в них, преть до седьмого поту; сотворять планы производства, статистически оформлять, сравнивать успехи по ска́ле лет, кварталов и месяцев, «прорабатывать» вопросы, «согласовывать», «контактировать»; ходить с ватерпассом и улавливать у конкурентов «уклоны»; ораторствовать по статуту, акцентировать и жестикулировать по образцам великих мастеров революции (à la Ленин, à la Троцкий—те же паузы, те же характерные движения); выступать с приветственными речами, где сие идет впрок карьере; пышно и с достоинством «представительствовать» свое учреждение, баритонально-уверенно говорить «мы». О, эти ребята были бы великими актерами, если бы не были всего на всего только мелкими симулянтами! В глаза пускается пыль, товар показывается лицом. Все в совокупности приносит богатые проценты: состоят на хорошем счету, делают блестящую карьеру, житейски устроены с комфортом. При нашем жилищном голоде они имеют просторные квартиры (часто—казенные), с мягкой мебелью, с коврами, с безделушками. Придите к хорошему человеку

в гости—он выйдет к вам в мягкой покойной фланелевой тужурке, в легких туфлях и заговорит... на рабоче-крестьянском наречии. Сразу видно—сановник из спецов. Сочетание сибаритства с рабоче-крестьянской словесностью живо напоминает «булку Востока» и работу защитно-окрашенных микробов под госшапкой.

Так бывшие белоподкладочники—и именно они—спешно превращаются в красноподкладочников. Маска пригнана крепко, роль разучена досконально, жесты усвоены, модуляции голоса безошибочны. Подлинное естество человека раскрывается только в тесном интимном кругу, за чашкой чая, за рюмкой коньяку. Тогда из жилета выползает гад. Оказывается, капитан последовательно-социалистической промышленности—последовательный... «ницшеанец». Он презирает людей физического труда, толпу, быдло, стадо рабов. Само собой, он стоит над классами, но какой подклассовой, зоологической ненавистью ненавидит он «эти раскаряченные рожи, эти жесткие луковицы скул, эти квадратные подбородки, низкие лбы, крутые черепа, оттопыренные уши уголовных, буряковые лапищи, вывороченные оглоблями ножищи». С какой великолепной брезгливостью, помахиванием наманикюренной ручкой и презрительно спущенной губой дается эта характеристика рабоче-крестьянского типа!

Кто-то заметил, что особенно люто, многоэтажно, виртуозно-мастерски ругаются по воскресным дням в трактирах и пивнушках приказчики и мелкие торговцы. Целую неделю им приходится быть фальшиво любезными, натянуто улыбающимися, терпеливыми с покупателями. Поэтому задерживаемое целую неделю раздражение, закипающие в душе «матери» обильно прорываются в свободный от покупателей день.

То же и здесь. Спецовский снобизм, сдерживаемый в обстановке демократической советской работы, получает свой разряд в милом общении с коньяковыми звездами.

Могий вместити да вместит. Классический образец вместимости явила, как известно, купчиха, у которой муж для закона, офицер для чувств и кучер для собственного удовольствия. Сколько по нашему времени развелось таких купчих обоего пола,—красноармейская звезда для карьеры, и—коньяковые звезды для чувств и заодно уж для любви.

От огульных обобщений я далек. Наша служилая интеллигенция в подавляющей массе работает не за страх, а за совесть,—вместе со всей страной, мучительно напрягаясь, вытаскивает воз нашей отсталой экономики и культуры из вековой трясины. Но довольно и того, что мы в теснейшей нашей среде имеем столь доблестных «звездоносцев».

* * * * *

Я слышал, как на Лубянской площади ругались на грани мордобоя букинист и полупьяный мещанин прежнего обличия в синем картузе. Наседал картуз. Он обвинял букиниста в трех смертных грехах: 1) торгует ворованными книгами («ворованные» означало по ходу «прений»—реквизированные); 2) спекулянт—эксплоатирует «нас, рабочий народ»: там люди работают, а он приплясывает вокруг ворованного добра и денежки посчитывает; 3) зачем согнал меня с этого места, я здесь торговал, а он забежал сучкой вперед, и патент на мое место выбрал.

Словечки при этом пестрели из всех лексиконов: юдофобски-монархического, народнически-либерального (насчет «разумного, доброго») и современно-митингового. Все «вместил» картуз. Пусть кстати законники раз'яснят мне, какое же правосознание вместил он.

Подите на любое заседание суда—в гражданский суд, либо в особую сессию по трудовым делам,—о чем бы ни шла тяжба—об имуществе, зарплате, жилплощади, алиментах—обе стороны неизменно козыряют либо своим происхождением («мать — крестьянка, отец — двое рабочих»), либо своими особыми заслугами перед революцией, либо своей преданностью. Каждый норовит помитинговать, выкинуть демагогическое коленце покруче. В петушином бою «сторон» перед красным сукном установились свои каверзные подходцы и подножки из сплетения аргументов и словечек совсем особого жаргона,—едва ли не с цитатами из вождей.

Сколько здесь лампадного масла всяческой благонамеренности, сколько фальши, ходульности, криводушия, лицемерия! (Да и какова здесь логика? Почему пролетарское происхождение должно способствовать отпущению грехов? Будто передовой класс не должен нести сугубой ответственности за нарушение законов своего же пролетарского государства? Ведь наиболее жесткую кару несет обычно коммунист: у него права, с него же и ответственность. Разве это не относится в известной степени и к рабочему?). У судей достаточно притупилась чувствительность к сим велеречивым излияниям сторон, и—надо отдать справедливость судьям — они приучаются схватывать существо дела, отметая шелуху этих неистребимых условности и ханжества. Но как часты все же случаи, когда окрашивание в защитный цвет, своеобразная эзоповщина судоговорения, пролезание под госшапку—достигают своей цели. О картине нравов, раскрывающейся попутно, нечего и говорить: она ясна сама собой.

* * * * *

Перелицовка в пролетарии, примазывание к партии идет с подлинно трансформаторской ловкостью. И нужно быть сахаринным Маниловым, чтобы не видеть в этой стихийной тяге к единственной правящей партии—наряду с другими мотивами — мотива социального приспособления, той же госшапки, или, если угодно—«партшапки».

Охотников пролезть под партшапку у нас хоть отбавляй; вот уж именно: «всегда готов!»

На это не мало сетует, против этого не мало борется сама партия.

Партия, по выражению Л. Д. Троцкого, должна быть «орденом самураев». Она требует от своих членов жесткой спартанской выдержки, самоотречения, жертвенности, бессеребреничества. Она держится на своеобразном пуританизме. Могий вместити да вместит. Но наш средний человек (по существу—обывательского склада) не в состоянии держаться на такой высоте, в особенности в нашей нео-нэповской обстановке, с ее поветрием растрат, жаждой домашнего благоустройства, с ее разливом мещанства и проч. и проч. Перенапряженный в задании пуританизм, растянутый на ряд лет, с головой окунутый в нынешнее «человеческое, слишком человеческое»—порождает, как свою естественную противоположность—в среднем человеке — ханжество, фарисейство. Ибо пуританизм и ханжество функционально связаны между собою: первое в слабых душах родит второе. Настоящий моральный вексель становится бронзовым векселем, и оба, причудливо переплетаясь, вливаются в поток быта нашего бронзового века.

Две растраты.

Два события последних месяцев оставили глубокий след: 1) волна хищений и спекулятивного ажиотажа, прокатившаяся по хлебозаготовительным органам, госторгам, трестам, средней и низовой кооперации—в связи с товарным голодом и 2) самоубийство Сергея Есенина.

В моем сознании обе утраты (или растраты?) сливаются воедино, как два аспекта—материальный и духовный—одного и того же явления.

Конечно, не наше советское государство, и даже шире—не наша советская государственность повинны в хозяйственных растратах; повинны те люди, которые их произвели,—они несут, понесут, должны понести законное и справедливое наказание. Конечно, Есенин растратил *себя сам*,—растратил как лирик, чуждый духу времени. Когда в организм вводится или вводит себя, подчиняясь закону приспособления, чужеродное тело, которое естественному органическому усвоению не поддается, то получается идиосинкразия, и охватывает нестерпимый зуд.

Если в экономике или быту пролезание под госшапку дает ловкачу все житейские преференсы, а страдает государство, то в культуре положение сложнее: страдают обе стороны. Фальшивое приспособление живого носителя культурных ценностей сразу же лишает его под госшапкой доступа кислорода, создает обстановку удушья. Сама природа культурной работы, особенно высшая ее форма—творческая—не терпит ни обмана, ни фальши.

Таков закон. Нарушение его, сползание к смердяковскому приспособленчеству убивает наповал. Чуть угнездился порок—роковая развязка неизбежна: либо зарезано художество, либо задушен художник.

Вот как свидетельствует об этом явлении в литературе редактор «Красной Нови» тов. А. К. Воронский в интересной статье в декабрьской книжке: «... Подозрительна легкость, с коей дается 100% идеологическая выдержанность в таком нелегком деле, как искусство новой советской культуры, безапелляционность и дешевенький оптимизм. Отсюда один шаг до халтуры. Когда нет истинного под'ема, а редакции, издательства и не в меру ретивые критики требуют революционности и бодрости безоблачной и чистой, тогда на помощь приходит халтура, зверушка ползающий и пресмыкающийся... Показное приспособление к коммунизму, показное творчество—этого у нас за глаза довольно. При этом под флагом коммунизма по сути дела протаскивается доподлинный бульвар, мещанство и обывательщина... Разлад между показным творчеством и своим настоящим нутром раз'едает писателя, если он мало-мальски честен с собой, читатель же перестает верить ему. Вот откуда пьяные скандалы, дебоши, исповеди горячего сердца вверх пятами, трактирные излияния и признания, биение в перси, обличения и самооплевание, сплетня и зависть, конкуренция и расталкивание локтями. Или нет всего этого у нас?»

Может быть, в свете этой компетентной характеристики уяснится и «Москва Кабацкая» Сергея Есенина.

Мы знали Есенина ненавистником городской культуры и антисемитом,—этого никуда не упрячешь. Не надо паточных слов и не надо умолчаний. Именно они оскорбительны для памяти поэта, не достойны нас самих. Больше правды и простоты. Как же Есенин оказался в ультра-левых, сподвижником «напостовцев», столпом «Октября»? Еще свежи в памяти захлебывающиеся восторги «напостовцев»—«переломом» в Есенине.

Что же случилось? Насквозь эмоциональный лирик зашагал вдруг на ходулях политшколярного резонерства. Пытаясь попасть в ногу, невпопад запевал о Марксе, о машинах, индустрии, начал слагать оды. Рука, написавшая:

> Разбуди меня завтра рано
> О, моя терпеливая мать!..
> . . . .
> Со снопом волос твоих овсяных
> Отоснилась мне ты навсегда

—та самая рука стала неожиданно выводить:

> Но при всякой беде веет новью вал.
> Кто ж не помнит теперь речь Зиновьева.

Такова она—эта 100%-ная «идеологическая выдержанность», о которой с такой искренней болью пишет тов. Воронский.

Не показали ли предсмертные, написанные кровью строки:

> В жизни умирать не ново,
> Но и жить, конечно, не новей

—что хваленый «перелом» оказался много глубже, нежели рассчитывали «ретивые критики»?

Мысли вслух.

Если мысленно пробежать снизу вверх все ярусы нашей экономики, быта, культуры, то повсюду самогонным змеевиком пробегает смердяковское приспособленчество. Дутые фасады, выпотрошенное нутро. «А еще корчат из себя целых политкаторжан»... Мы видели, как вредоносные бациллы проникают под госшапку и уютно укрываются там на паразитарных харчах, какими это сопровождается противоестественными искривлениями и вывихами. Мы видели своеобразную эзоповщину нашего быта. Мы слышали этот шибающий из самогонного змеевика запах сивухи и фарисейской патоки.

Где же выход? Упрощенный выход подсказывают справа: свобода, полная свобода хозяйственного и культурного самоопределения. И—*замечательное дело!—в порядке безответственной* фронды мы все по стародавней дореволюционной привычке имеем влечение—род недуга—к сим либеральным золотым словесам. Но сто́ит вскрыть чрево этого золоченного идола, и нам предстанет столь знакомая по вскрытию мощей картина: взлохмаченная кудель, саднящий дух тления.

Что несет с собой так назыв. свобода конкретно в нынешней обстановке? Во внутренней экономике—буржуазную реставрацию во вкусе Устрялова, срыв государственного хозяйства; во внешней торговле—отказ от монополии и в результате неизбежную колониальную зависимость нашей страны. В политике это означало бы перелом к фашизму, зачатки которого бурьяном и беленой прошибают меж камней провинциальной мостовой. Такая политико-экономическая обстановка дала бы в культуре следующий рефлекс: на низах—подавление массовой и подлинной демократичности культурного охвата; *на верхах—сосуществование тысяч противоречивых* мнений, то сосуществование мнений, которое и филологически и логически есть со-мнение. От действенного общественного мнения мы вернулись бы вспять к слабовольной резиньяции индивидуальных со-мнений предреволюционного десятилетия.

Не будем мармеладными обывателями, будем ответственными гражданами. Скажем: свободы в природе нет, есть необходимости в иллюзорной облатке свободы, а из этих необходимостей давайте утверждать те, которые таят пружинистую силу роста, прогресса. Так мы из слепой области формальных суждений перейдем в зрячую сферу реальных оценок.

Но что считать прогрессивным? Прогрессивным будем считать то, что в данной исторической обстановке при наименьшей затрате энергии дает наибольшие возможности плодотворного осуществления, раскрывает подспудные силы народной и земляной толщи. Надо до *крайнего предела развернуть производительные* силы страны—и духовные и материальные. В прущей из земли биологической плоти и страсти, в молодости, в силе, в игре избытков,—высшее утверждение и правда.

Не требует ли однако этот панбиологизм растительной свободы? Такая постановка сразу вывела бы нас за грани культуры и привела к утверждению первобытности. Культура связывает природу, но не исключает ее: она довооружает человеческую природу. Наш рост строится на синтезе природы и культуры, на синтезе свободного выбора и принудительной необходимости.

Несколько примеров. Языковая стихия уходит корнями в глубины народного словотворчества, свободного от всяких рогаток,—но высшей словесной формой мы считаем именно ту самую поэзию, которая более всего связана и ограничена. Сколько ультимативных нот пред'являют и стилистика, и эвфония, и фонетика, и ритмика! Высшей прозаической формой мы *считаем драматургию, а она ли не ставит жест*ких условий художнику? Ведь из всего богатого многообразия словесных форм ему оставлен один лишь диалог, в интонациях которого надо выразить все: и сюжет с драматическим нарастанием, и типы с их психологической подоплекой, и идею, и художественное целое. Драматург ограничен сценой и ограничен публикой, зрителем. Только преодолев все эти ограничения и условности, найдя разрешение каждой из задач и увязав эти решения в органическое целое, драматург пробивается к своей цели.

Что же, эти драконовы условия тормо́зят, связывают качественную производительность труда поэта, драматурга? Нет, они способствуют медовой сочности и насыщенности произведений. Мы это знаем: творческий путь есть путь наибольшего сопротивления. Трудности определенного качества, взятые в известном количестве, не глушат ростков, а повышают их *жизнестойкость*.

Культура народов умеренного климата интенсивнее культуры тропических народов. В борьбе с более суровой природой закаляется человек, обогащается арсенал его орудий воздействия, совершенствуется человеческий тип и культура, которую он несет с собой. Не случайно культурной лабораторией всего человечества в последнее тысячелетие явилась Европа, и лишь теперь, когда дело сделано и подоспели сроки революционного передела мировой экономической карты,—восстание колониальных народов знаменует конфискацию отточенного оружия европейской культуры для приложения к более богатой земляной толще.

Совершенно ясно, что создать Красную армию в столь краткий срок нам помогла гражданская война и... интервенты. В борьбе с ними закалилась военная мощь молодой Республики.

Нет, неправда, будто при всех условиях свобода *является фактором роста производитель*ных сил, а ущемление свободы при всех условиях глушит эти силы.

Современная медицина (интереснейшие опыты омоложения, лечение туберкулеза холодным горным воздухом и проч.) дает нам десятки поучительных примеров того, как ущерб, из'ян, торможение в одном участке повышает жизнедеятельность и активность организма в целом.

Так говорит молодая медицина, и она права. Но справедлива и старая украинская поговорка: «круты, круты—та нэ перекручуй».

Ставить вопрос о свободе или о диктатуре формально—значит быть в лучшем случае пошляком или пустопорожним ригористом, а в худшем—ханжей. Нам нужны *одновременно и диктатура и демократизм*,—каждое из этих двух начал *в меру его прогрессивности*, *как фактора, способствующего росту производительных сил страны*. Сейчас нет принципиального спора: или—или. Сейчас есть ответственное утверждение: и—и.

Эта мысль, в сущности, усвоена и коммунистической партией, которая, отстаивая непоколебимость диктатуры, но одновременно идя навстречу пробудившейся активности страны, выдвинула лозунги внутри-партийной демократии, оживления советов, профсоюзов, кооперации, то-есть, главных общественно-политических и общественно-экономических организующих центров. Если о чем возможен спор, не беспредметный, а плодотворный, то лишь о двух вопросах: 1) о дозировках централизма и демократизма в системе советской государственности и экономики и 2) о действительном наполнении лозунгов плотью и кровью. Только такая имманентная постановка осмыслена сейчас.

Член ЦКК тов. Я. А. Яковлев в одном из своих докладов, касаясь вопроса о демократизме, формулировал задачу так: «Все дело в том, чтобы в этом вопросе не отставать от темпа жизни, не запаздывать. За каждое запоздание (а они у нас бывают) мы дорого платимся» (цитирую по памяти).

Я думаю, что тов. Я. А. Яковлев прав. Все дело в тех или иных запаздываниях. Если при одной степени активности населения страны, в одной хозяйственной обстановке данная дозировка централизма и демократизма пропорционально верна, то по истечении времени и связанного с этим роста—прежние соотношения могут оказаться недостаточными, неправильными. Нужно, стало быть, продвижение вперед из года в год, из месяца в месяц. Запаздывание отзывается зудом, чесоткой. Их вызывают чужеродные тела, которые, не находя себе места под солнцем, но достигнув известной степени активности, ищут паразитарного тепла внутри государственного организма и беспокоят тем назойливее, чем глубже болячка загнана вовнутрь.

Мы слишком озабочены благопристойностью своего внешнего фасада и слишком невнимательны к хрупким внутренним органам, где приютились вредоносные бациллы. При этом как часто и основательно мы забываем заповедь Козьмы Пруткова: «Никто необ'ятного об'ять не может». И как редко задаем себе вопрос: не перестало ли быть нынче прогрессивным, взбадривающим производительные силы то, что было прогрессивным еще вчера?

Искусство детонировать сегодняшний день требует трех вещей: внимательности, внимательности и еще раз внимательности. Ибо в искреннем желании нашей советской общественности и государственности поднять страну в кратчайший срок на наивысшую возможную высоту могут сомневаться лишь белые слепцы. Вне советской общественности, на путях «свободы», т.-е., реставрации, нет выхода для страны. Все болячки нашего роста—и открытые и интимные—мы изживем только сами, общими и солидарными усилиями.

* * * *

„ПОЛИНА ГЕБЛЬ“ (Декабристы).

Драматическая поэма.

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ и ПАВЕЛ ЩЕГОЛЕВ *).

КАРТИНА ПЕРВАЯ.

(Перекресток парижских улиц. Высокие дома с балкончиками. Ночное, мягкое небо. Внизу свет из окон кофейни. Посреди площади деревянный помост, где играют музыканты. От помоста к домам бумажные фонари.

На мостовой за столиком сидят Анненков и Лунин. Несколько пар танцует. Музыканты кончают играть. Танцующие поднимают крик. Контрабасист снимает цилиндр и перегибается через эстраду. Ему кидают монеты).

ЛУНИН. Смотри—музыканты устали, танцоры отбили ноги, а твоя красотка не идет.

АННЕНКОВ. Подождем еще немного, заклинаю тебя!

ЛУНИН. Смотри, сколько здесь хорошеньких гризеток, веселых буржуазок,—пойдем!.. Право же—последний вечер в Париже не стоит сидеть, уткнувшись в галстух, как сыч.

АННЕНКОВ. Ее зовут Полина. (Музыканты снова играют) Ее отец—участник Великой Революции. Послушай, Лунин. Неужели ты не чувствуешь, как эти камни поют о прошлом. Свобода и любовь! За этим столиком сидел Дантон—я верю. Там проходил Робеспьер, погруженный в размышления. Здесь висело извещение о правах человека. Отец Полины смочил платок в королевской крови под эшафотом.

ЛУНИН. Не разжигай меня, Анненков. Завтра на почтовых полетим в страну рабства. Царь-тиран да царская собака-Аракчеев взамен свободы и любви. Несчастная Россия!

(Входят девушки, они окружают Беранже. Среди них Полина.)

АННЕНКОВ. Полина!.. Смотри!.. Она точно идет по воздуху.

ДЕВУШКИ. На четыре су
Я купила хлеба.
На четыре су
Я куплю вина.
Юбкой занавешу
Наверху окошко.
Приходи скорее,
Молодость моя!..

БЕРАНЖЕ. На целых восемь су я покупаю вина. (Мальчику, услуживающему при кафе) Послушай, старина—для самых беспечных, самых веселых людей в Париже—на восемь су—вина. Все остальное—при нас: глаза, чтобы разговаривать красноречивее слов, губы, чтобы целоваться, и розы, розы щек!.. Ты понял, наконец, зачем родился? Беги же за вином!.. (Подхватывает девушку и танцует).

АННЕНКОВ. Кто этот лысый человек?

ЛУНИН. Поэт Беранжэ.

АННЕНКОВ. Я поклонюсь Полине. Ты тоже кланяйся! Добрый вечер, Полина.

ПОЛИНА. Добрый вечер, m-ieur Анненков.

ЛУНИН. Твоя красавица стоит того, чтобы о ней загрустить.

АННЕНКОВ. Она служит в модном магазине. Однажды захожу выбрать шейный платок. На прилавке передо мной чьи-то прекрасные руки разложили множество красивых вещей. Но я глядел лишь на эти руки. Я поднял глаза. Наши взоры встретились. Она смотрела на меня с нежностью. Из глаз в глаза пробежал огонь. Я смутился. На следующий день она открыла мне, что ее зовут Полина. На третий раз—едва вошел, увидал милое лицо,—не помню, что я говорил. Я умолял ее быть моей женой. Она засмеялась, покачала головой. Я выбежал... Я не сплю ночей... Я мучаюсь... Невозможно—сегодня видеть ее в последний раз!

ЛУНИН. В последний раз вдохни воздух очарования и свободы! А дальше—плац-парад, униженный поклон царю да кнут в казармах... Лишь смертью тирана, великим переворотом купим и счастье народа русского и свое счастье!

АННЕНКОВ. Клянусь, Лунин. Клянусь моей любовью идти за тобой!

ЛУНИН. На цареубийство?..

АННЕНКОВ. Клянусь!..

(Из дверей дома выходит старик с большим носом и большими седыми бровями. Он одет в короткий сюртук, в бархатной шапочке. Увидев Лунина, останавливается, вынимает табакерку. Лунин почтительно кланяется ему. Беранже у стола наливает вино.)

БЕРАНЖЕ. Полина, черноглазая любимица моя, правда—ты покидаешь нас?

ПОЛИНА. Я уезжаю далеко.

БЕРАНЖЕ. Так осенью нас покидают птицы,
Так осенью с каштанов листья
Облетают... Уходит молодость
И красота нас манит издали воспоминанием...

ПОЛИНА. (Встает, отходит из-за стола, приложив платок к глазам.) Простите, милые подруги...

АННЕНКОВ. (Подходит к Полине.) Я врываюсь непрошенный в ваше веселье...

ПОЛИНА. Мне грустно, я уезжаю. Должно быть, никогда я больше не увижу мою страну родную.

АННЕНКОВ. Мы грустим об одном. Я уезжаю завтра.

ПОЛИНА. Вы уезжаете в Россию?

АННЕНКОВ. Кончился мой отпуск. Император гневается. Полина, позвольте на прощанье говорить с вами почтительно, как того повелевает моя страсть.

ПОЛИНА. Не успеете сесть в дилижанс—и уж забудете Полину. Напрасно говорить слова.

АННЕНКОВ. Забыть... Лишь смерть сотрет ваш образ милый!..

---

*) Музыку на текст этой поэмы пишет Ю. Шапорин.

ПОЛИНА. Нет, нет, не нужно!..

АННЕНКОВ. Я люблю вас, Полина!

ПОЛИНА. Пожалуйста, не говорите о любви. Оставьте мне девичий покой. Вы—знатный человек, блестящий офицер. Вы богаты. Вы слишком красивы. Я простая девушка, живу на труды моих рук...

АННЕНКОВ. Полина!

ПОЛИНА. Давно, еще девочкой, мы гадали с подругами,—за кого выйдет каждая замуж. Я сказала: только за русского! И вот судьба: недавно я подписала контракт с торговым домом Демонси и уезжаю в Москву.

АННЕНКОВ. В Москву! Какое счастье! Мы встретимся. Теперь я не с разбитым сердцем покидаю Францию. Я счастлив, Полина...

ПОЛИНА. Мне страшно ехать в страну вечных снегов. Говорят—на улицах Москвы бродят медведи, и дыхание замерзает.

АННЕНКОВ. (Смеется). Кровожадные звери смиренно станут лизать вам ножки, Полина! А в снегах женщины согреваются горячей любовью.

ПОЛИНА. Так я и знала,—вы смеетесь. (Протягивает ему руки) До свиданья.

АННЕНКОВ. В Москве...

ПОЛИНА. Кузнецкий Мост... у Демонси.

БЕРАНЖЕ. Полина, иди же к нам, веди к нам своего друга. Дети мои, сегодня в Париже—куда ни погляди—распускаются розы любви.

ДЕВУШКИ. (Поют)

Тихо старость пеплом
Голову посыплет.
Вспомни этот вечер,
Звезды над Парижем,
Вспомни запах розы
На груди твоей!

ПОЛИНА. (Анненкову). Идемте к ним, хотите?..

АННЕНКОВ. Но надо же исполнить слова песни! (Берет у продавщицы цветов розу и прикалывает Полине) «Вспомни запах розы на груди твоей!»...

ПОЛИНА. Спасибо. Я не забуду... (Они подходят к столу).

СТАРИК. (Угостив Лунина табаком) Ваш друг—офицер гвардии?

ЛУНИН. Анненков—кавалергард, сумасбродная голова, но верное, горячее сердце. Он состоит в тайном обществе.

СТАРИК. Франция истекла кровью от войн императора. Лучшие погибли. Реакция отравляет нас отвратительным зловонием. Мы устали. Паруса революции разодраны в клочья. Человечество ждет новых вождей. Очередь за вами—русские.

ЛУНИН. Учитель, дайте нам напутствие. Мы уезжаем, быть может, на смерть, на вечную каторгу. Или погибнуть, или мы должны уничтожить тиранию, освободить народ от постыдного рабства и осветить наукой тьму невежества.

СТАРИК. Закон естественный для каждого народа. Сначала власть духовная, попы—власть суеверия. Потом—помещики, бароны, феодалы — власть меча. И, наконец, век индустрии. Век расслоения на классы и классовой борьбы. На рубеже сих трех эпох пылают революции. Запомните! Таков закон неумолимый человечества. Вы, русские, изжили две эпохи. Пред вами исступление, огонь и кровь Великой Революции. Идите и поступайте согласно мудрости и совести! Потомки запишут в сердце ваши имена!..

КАРТИНА ВТОРАЯ.

(Большая комната, обитая малиновым штофом. Посреди—возвышение, покрытое коврами. На нем кушетка под балдахином с золотыми кистями. Перед ней, полукругом в обе стороны, — по шести мраморных ваз с масляными лампами. В огромном камине пылают дрова.

На кушетке сидит нарумяненная старуха, Анна Ивановна Анненкова. На ней пышная юбка. Верхняя часть тела—еще не одета. Ноги босые. Голова убрана буклями и локонами.

Комната полна сенных девушек. Старухи, приживалки, дурки, дураки. Перед старухой стоит Марья Тимофеевна Перская—домоправительница и две девушки. На одной надет узкий с короткими рукавами лиф от платья Анны Ивановны, на другой—чулки барыни.

Приживалки сидят на ступенях помоста, умильно глядят на Анну Ивановну. Здесь же сидит немка, непомерной толщины женщина, обязанность которой нагревать для барыни карету.

Девушки поют. Анна Ивановна, закрыв глаза, покачивает головой.)

ДЕВУШКИ.

С кем еще сравнить вас,
Барыня красавица.
С греческою нимфой
Ах, с нимфою в ручье.
Роза, роза, роза,
Анна Ивановна,
Роза, роза, роза,
Чудная пастушка... Ах...

ПЕРСКАЯ. Лифчик согрелся в самый аккурат, девка попалась горячая, прикажите надеть, матушка Анна Ивановна.

(Девка снимает с себя лифчик, передает Перской, та надевает его на барыню).

ДЕВУШКИ.

Роза, роза, роза,
Анна Ивановна,
Прикажите лифчик
На себя надеть.

ПЕРСКАЯ. Чулочки согрелись в самый аккурат, девка попалась нежная, чистая, прикажите надеть, Анна Ивановна.

(Девка стаскивает с себя чулки, передает их тем же порядком Перской, та надевает их на барыню).

ДЕВУШКИ.

Ну, споемте песню
Про ножки, про ножки.
Прочь, буйны ветры,
Не дуйте, не дуйте.
Где вы, зефиры,
Целуйте, целуйте
Розы, розы, розы,
Прелестные ножки.

АННА ИВАНОВНА. Жмет, щекочет...

ПЕРСКАЯ. Тише вы, девки! Матушка, Анна Ивановна, где жать изволит? Платьице за номером четыре тысячи триста тридцать первым, все осмотрели,—в порядке.

АННА ИВАНОВНА. Мурашки.

ПЕРСКАЯ. Беда, беда, с чего бы мурашкам бегать.

АННА ИВАНОВНА. Чья была животная теплота?

ПЕРСКАЯ. (Толкает двух девушек, согревавших лиф и чулки) Дуньки да Варьки. Обе животные чистые, горячие, как печки.

АННА ИВАНОВНА. (Дуньке и Варьке) Лук ели? Не отпираться. Слышу,—лук ели репчатый.

ДУНЬКА И ВАРЬКА. Ох, виноваты мы, ели по глупости.

АННА ИВАНОВНА. На трое суток на хлеб на воду. В другой раз на цепь велю посадить. Соль дайте понюхать. (Перская подает пузырек) Скука нестерпимая. Посмотри—нет ли кого в приемной.

ПЕРСКАЯ. Сынок ваш, Иван Александрович, часа уж полтора как дожидается...

АННА ИВАНОВНА. А я и забыла. Зови. (Перская уходит) Дура, Ипатьевна, приблизься. (Дурка подбегает) Замуж хочешь?

ДУРКА. Хочу, мамаша.

АННА ИВАНОВНА. Дурак, приблизься. (Дурак подбегает) Ну, рассмеши меня. (Дурак валится с помоста) Плохо. Не смешно. Жениться хочешь на дурке? Да ну, смешите же меня, дуры, дураки, девки...

(Дурак и дурка, обхватив друг друга, пляшут. Другие дураки и дурки прыгают, катаются, кувыркаются. Один дурак колотит всех палкой. Девушки поют).

ДЕВУШКИ.
Как за нашею невестой,
Всему городу известной,
Тесть приданое дает,
Свекор плачет, не берет.
Пятьдесят поросят,
Все на цепи сидят.
Да сорок кадушек
Соленых лягушек,
Да сорок шестов
Собачьих хвостов.
Две бодатые коровы,
Каждой по сту лет.
Да богатые хоромы,
Все без задних стен.
Да еще конь гнед,
На нем шерсти нет.
Да невестушка душа,
Разодета, хороша,
Один глаз косит, другой вовсе не глядит...

АННЕНКОВ. (Входит, пробирается через толпу пляшущих к матери, целует руку. Он в форме кавалергарда, при шарфе, в руке кивер). Добрый день, любезная матушка, как здоровье ваше?

АННА ИВАНОВНА. (Махает платком, чтобы перестали плясать). Плохо. Мурашки бегают.

АННЕНКОВ. Вы бы с доктором посоветовались.

АННА ИВАНОВНА. А ты, гляжу, уныл видом. Опять проигрался?

АННЕНКОВ. Нет, не проигрался я,—не до игры, не до веселья.

АННА ИВАНОВНА. Что же хмуришься?

АННЕНКОВ. Мне дико здесь среди шутов и дур и девушек, на скотство обреченных.

АННА ИВАНОВНА. Скажи—идей каких набрался за границей, чего поди—волеторьянец. Ну, а еще что?

АННЕНКОВ. Поверить хотел вам тайну.

АННА ИВАНОВНА. Сердечную?

АННЕНКОВ. Люблю я всею силой страсти, навек.

АННА ИВАНОВНА. Что ж, если равная по знатности и состоянью нам,—женись, пожалуй.

АННЕНКОВ. Не равная,—ни знатности, ни состоянья,—горда, прекрасна, недоступна... Милей всех женщин, совершенней... С ума сойду я, маменька.

АННА ИВАНОВНА. Ты глуп, мой друг. Возьми ее в любовницы, так просто...

АННЕНКОВ. Маменька, при всей почтительности, прошу вас, прекратим сей разговор.

АННА ИВАНОВНА. Мальчишка, распетушился, фыр, фыр—петух индейский. А вот, чтоб спесь тебе посбить волеторьянскую—велю всех девок выпороть... А ты гляди, учись. Мы дома, у себя, в стране дворянской... Где Марь Тимофеевна. Конюхов сюда... (Несколько приживалок кидаются опрометью в двери) Девки, становитесь в очередь. По десять розог каждой по голому, сие полезно для кровообращения... (Топает ногой) Да чтобы без надутых морд... Под песню... (Входят конюха).

ДЕВУШКИ.
Встало солнце красное,
Улыбнулась барыня.
Мы ваши дети,—
Вы наша радость.
В чем провинились—
Увы нам, увы нам—
Казните, простите,
Поганок, чернявок. Увы нам, увы...

ПЕРСКАЯ. (Вбегает) Платья принесли,—приказчица и с девкой, рабой, арапкой страшной.

АННА ИВАНОВНА. Ах, платья. Проси в зеркальную. (Сыну) Увидишь—премиленький французский драдедам. Я всю материю купила, чтоб никакая дура в Москве не вырядилась в подобное...

ДУРАК. (Анне Ивановне) Прикажешь пороть-то? Оголять-то будем девок? (Анна Ивановна ногой спихивает его с помоста. Входят Полина и арапка с платьями. Анненков пораженный опрокидывает стул).

АННЕНКОВ. Полина!

ПОЛИНА. (Оглядывает девок, конюхов) Я вижу, лучше мне удалиться, чтобы не быть участницей невольной в экзекуции...

АННА ИВАНОВНА. Мы развлекались, мадмуазель Полина... Хотела девок я лишь попугать... Что вы принесли?

ПОЛИНА. От Демонси два туалета и примерка...

АННА ИВАНОВНА. (Девке) Дай зеркало. (Смотрится) Сегодня я бледна, совсем не для примерки.

АННЕНКОВ. Вы запретили видеть вас, Полина, простите, привелось.

ПОЛИНА. Я очарована, monsieur, случайной этой встречей. (Анне Ивановне) Прикажите пройти в зеркальную, мадам?

АННЕНКОВ. Я здесь, чтобы сломить упорство предрассудков, чтобы у маменьки согласье вырвать на брак... Но вы так холодны, вы неприступны... Отчаянье возьмет глядеть на вас, такую обольстительную... Что ж остается, пулю себе в висок, или Кавказ погибельный.

ПОЛИНА. Monsieur, по делу я здесь, быть может, пропустите меня пройти в зеркальную. (Уходит в боковую дверь вместе с арапкой).

АННА ИВАНОВНА. Особа с характером. Дурак, дурак, мой милый. Так ты в нее влюбился?

АННЕНКОВ. Полина никогда без вашего согласья моей не станет.

АННА ИВАНОВНА. Мой сын жену портниху будет вывозить к двору и в свет... С ума сошел... Французинок берут на содержанье, а если упрямится—найдешь таких же сотню. Пойди ты к Марье Тимофеевне, возьми—ну пять, ну десять тысяч,—у ней ключи и деньги... Да поезжай к цыганам, проветрись, а оттуда в полк. (Уходит).

АННЕНКОВ. Нет, не к цыганам... К чорту на рога... Да, Лунин прав... Лишь вдребезги разбить весь этот мир преступный, зловещую поруку преступлений, от трона царского до девки крепостной... (Закрыв лицо рукой, садится).

ДЕВУШКИ. Едут, едут, едут молодцы,
Ведут, ведут коней под уздцы.
Роза, роза,
Что это за роза...
Ведут, ведут коней под уздцы.
Первый, первый конь копытом бьет,
Красну, красну, душу девицу зовет.
Роза, роза,
Что это за роза.
Первый, первый конь копытом бьет.
Выйди, выйди, милая любовь,
Скучно, скучно без тебя, любовь.
Роза, роза,
Что это за роза,
Скучно, скучно без тебя, любовь.

КУРЬЕР. (Входит) Пакет из полка. (Подает пакет Анненкову) С курьером, спешное.

АННЕНКОВ. Спасибо. (Разрывает пакет) Назначенье на ремонт. (Берет кивер и шарф) Скажи, что передал приказ,—сегодня я выезжаю.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ.

(Ярмарка в Пензе. Площадь. С одной стороны—желтое, двухэтажное здание—«Гостиница для приезжающих», внизу—«Ресторация». На втором этаже—балкон. Внизу сквозь окно видна комната, где играют в карты четверо: человек, похожий на Ноздрева, Анненков и двое с усами, в венгерках, Пьер и Собакин. На диванах сидят цыганки. За стулом Анненкова стоит слуга его, Данилыч, с мешком.

С другой стороны площади—карусели. Перед ней—толпа разряженных мещаночек, купеческих дочек. Чиновники в высоких картузах, купцы, военные. Сбитенщики. Мальчик с шарами.

В глубине сцены—лавка с вывеской: «Отделение торгового дома Демонси. Модные товары».

Карусель крутится. Орган играет. Девицы на карусели поют).

ДЕВИЦЫ НА КАРУСЕЛИ.

Под пестрою палаткой
Красавица летит.
Картонная лошадка
Куда ее умчит?
Закружится головка,
Погибло все, и!— ах!
Но кавалер так ловко
Подхватит на руках.
И следа нет испуга.
Счастливая вполне
Летит в объятьях друга
Девица на коне.

АННЕНКОВ. (В окне) Ва-банк!

ПЬЕР. Идет.

АННЕНКОВ. На все.

ПЬЕР. Держу.

СОБАКИН. Играют лихо кавалергарды, чертовская игра!

ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ (Взмахивает бутылкой по направлению к цыганкам на диване) Цыганочки, птицы милые, потешьте.

ЦЫГАНКИ. Вы степи, степи ровные,
Кибитка да костер.
Любил одну цыганочку,
Ищу ее с тех пор.
Степи, зори,
Да цыганки белу грудь...
Не забуду, помнить буду.
Степи, зори,
Да кибиток дальний путь...

АННЕНКОВ. Хорошо, отлично.

ПЬЕР. Бита!

СОБАКИН. Не везет вам, Иван Александрович!

АННЕНКОВ. В банке десять тысяч.

ПЬЕР. Карту.

(На площади появляются два цыгана и мужик в гречушнике, с узелком, Сидор).

1 ЦЫГАН. Стой, дядя!

2 ЦЫГАН. Чего потерял?

СИДОР. Ничего.

1 ЦЫГАН. А это что?

СИДОР. Где?

2 ЦЫГАН. Погляди под ноги.

СИДОР. Ну?

1 ЦЫГАН. Нашел?

СИДОР. Чего?

2 ЦЫГАН. Чур пополам!

СИДОР. Да ты про что?

1 ЦЫГАН. Кошель!

СИДОР. Эх ты! Где?

2 ЦЫГАН. С деньгами.

СИДОР. Да где ж он?

1 ЦЫГАН. Ты ж поднял.

СИДОР. Как так—я поднял? Лопнуть, не брал.

2 ЦЫГАН. Покажь карманы.

СИДОР. (Бросает узелок) Фу ты, пропасть! С толку сбили!

(Показывает карманы. 1 Цыган убегает с узелком).

2 ЦЫГАН. И то не брал. Ну, прощай, дядя.

СИДОР. Прощай. (Цыган убегает) Узелок-то? Постой? Батюшки, обобрали! Караууууул!

КВАРТАЛЬНЫЙ. Ты что тут безобразничаешь, сиволапый?

СИДОР. Караул кричу, не видишь разве? Добро у меня украли,—вон они. Держи их, православные.

КВАРТАЛЬНЫЙ. (Хватает его, тащит) Идем в квартал.

ДЕВИЦЫ НА КАРУСЕЛИ.

Стрелой промчалось лето.
Настал желанный срок.
Она к венцу одета
Целует перстенек.
Картонная лошадка —
Живей, живей, живей.
И ветер вьется сладко
Вокруг ее кудрей.

ПЬЕР. Бита!

АННЕНКОВ. Ну хорошо. Последнюю талию.

СОБАКИН. Идет.

ПЬЕР. Лишь только не на мелок.

АННЕНКОВ. (Данилычу) Подай сюда.

ДАНИЛЫЧ. Не дам, Иван Александрович, батюшка, и так уж тысяч шестьдесят казенных денег проиграли. (Прижимает к себе мешок с деньгами).

АННЕНКОВ. Тебе-то что? Я отыграюсь. Ну, Данилыч, пожалуйста, ну—тысячу, не больше. (Гладит его по щеке).

(На площади появляются мужики, идут под руку).

МУЖИКИ. Пров пива наварил,
Пров вина накурил.
Зеленого вина
Полтора ведра.

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. Эх, пиво хорошо,
Вино лучше его.
Маланья моя, веселая моя.

МУЖИКИ. Пров речь ведет,
Всю деревню зовет,—
Степана, Ивана, Федора, Демьяна,
Нила-чудила, кривого Гаврила...

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. Не позвал он одного—
Барина своего.
Маланья моя, веселая моя.

МУЖИКИ. Хо-хо, хо-хо,
Барина своего.

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. А барин наш плачет,
По саду ходит,
Руками плещет,
Убивается.

МУЖИКИ. Не позвал, хо-хо
Барина своего.

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. Схватился наш барин
Картошку печь —
Только руки обжег.
Схватился наш барин
Кашу варить —
Только пузо обжег.

МУЖИКИ. Хо-хо, хо-хо,
У барина нашего
Вышло плохо кашево...

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. А Пров-то ест,
А Пров-то пьет,
Гостей подчует,
Бороду вытирает,
Барина поминает.
Маланья моя, веселая моя.

МУЖИКИ. Пров пустился в пляс,
Портками затряс.
Маланья моя, веселая моя...

(В это время Полина выходит из лавки. Веселый мужик останавливает ее).

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. Здравствуй, черноглазая.

ПОЛИНА. Здравствуй. (Мужик хлопает ее ладонью по ладони).

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. А мы гуляем.

ПОЛИНА. На здоровье.

ВЕСЕЛЫЙ МУЖИК. Гляди—мужики, что за мужики, голуби! И все до одного, черноглазая моя, поротые. У барина нашего головка заболела,—больно, говорит, веселы стали, мужики мои, голуби, громко песни поете, барину дремать не даете,—взял да и выпорол. А мы, мужики веселые, давай с барином играться... за головку схватили сердечного, барин ножками—дрык, да и окочурился.. Вот песня-то про что... (Смеется)

МУЖИКИ. Хо-хо, хо-хо,
Барин ножками забил,
Будто черта задавил.
Маланья моя, веселая моя.

КВАРТАЛЬНЫЙ. (Мужикам) Разойдись, проходи, не задерживайся, вот я вас, мужичье сиволапое.

ПОЛИНА. (Идет к гостинице, в окне видит Анненкова, останавливается на секунду) Он! Подкосились ноги... Снов моих властитель... (Исчезает во входной двери и, затем, появляется на балконе).

ИНОСТРАНЕЦ. (Стоя на помосте близ карусели) Господа почтенные всех сословий, сейчас покажут вам чудо природы, совершенно дикого человека, пойманного в девственных лесах реки Амазонки. Сия ужасная монстра научился говорить по-русски. Она скушает перед почтеннейшей публикой живого петуха, посредством перегрызения ему шеи и пожрет вместе с перьями, окромя клюва и лапок. (Трубит в хриплую, балаганную трубу).

ДИКИЙ. (Появляется рядом с иностранцем). В настоящее время я, дикий человек, питаюсь курами, голубями, ем с перьями, живьем, с кишками. Желающие могут осмотреть зубы. Больше ничего.

ТОЛПА. Съест петуха, съест петуха, съест петуха. Глядите, глядите, глядите, глядите...

АННЕНКОВ. (В окне) Довольно! Я проигрался.

ПЬЕР. Иван Александрович, нехорошо бросать игру.

СОБАКИН. Промечем талию, последнюю.

ДАНИЛЫЧ. Идемте, барин, от греха.

ПЬЕР. Вы струсили?

АННЕНКОВ. Нисколько. Чтоб доказать вам—сегодня вечером на этом месте отвечаю ста тысячами.

СОБАКИН. Ваше слово?

АННЕНКОВ. Да, слово—я приду. (Скрывается вместе с Данилычем в глубине комнаты. Пьер и Собакин выходят из гостиницы на площадь, человек в халате их провожает. Полина и горничная ее, Дуня, смотрят на них с балкона. Цыганки поют).

ЦЫГАНКИ. День прошел, заря погасла,
Этой ночи нам не жаль.
У костра сидит цыганка,
Завернувшись в темну шаль.
Степи, зори,
Да цыганки белу грудь
Не забуду, помнить буду
Степи, зори,
Да кибиток дальний путь.

СОБАКИН. (Пьеру, под балконом) Молодчика повычистили мы изрядно.

ПЬЕР. Ты кожу подстриги на пальцах, а то туза так дернул—в глазах позеленело.

ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ. Придет он вечером, как думаете, господа?

ПЬЕР. Слово дал—придет.

СОБАКИН. Сто тысяч сорвем и—завтра ж в столицу.

ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ. Накладку я приготовлю польскую в двенадцать битых карт, ты урони подсвечник, ты вскрикни, да завизжат цыганки, я и дерну.

(Все трое проходят).

ПОЛИНА. Дуняша, это шулера. Они сговариваются обыграть его. Он погиб.

АННЕНКОВ. (Выходит из гостиницы, за ним Данилыч с мешком) Ну, полно тебе, не мальчик я, отстань, не мучай.

ДАНИЛЫЧ. Зачем давали слово? Проиграете все деньги казенные.

АННЕНКОВ. Не все ли мне равно. Ах, Данилыч, душа измучена, разбито сердце... Забвения ищу я... Забыть!..

ДАНИЛЫЧ. Взяли бы мамзелей, гляди, их сколько бегает по ярмарке—да в степь, на тройках, на хутора.

АННЕНКОВ. Не стыдно тебе, Данилыч? Спрячь глаза. И в мыслях не изменю Полине. Женских губ вовек губами не коснусь. Пусть мрачно, одиноко любви пылает факел...

ДАНИЛЫЧ. Эх, Иван Александрович, жалобно умеете вы говорить.

ПОЛИНА. (Дуне) Беги. Отдай ему записочку. Проси прийти. Не говори, что от меня, скажи,—от незнакомки. (Дуня сбегает вниз и догоняет Анненкова на площади) Нет, нет, не побороть влеченья рокового. К чему хранить себя... Прижаться к груди его, и оба сердца слить в одном биении восторга. Благоразумье, стыд—что ж вы молчите? Нет, не противлюсь я... Ты бьешься, сердце, птица неистовая... Освобождаю тебя, лети, люби...

ДУНЯ. (Анненкову) Записочку вам, барин.

АННЕНКОВ. От кого?

ДУНЯ. От молодой особы. Непременно вам наказали в сумерки прийти.

АННЕНКОВ. Но кто она? (Читает записку) Знакомым запахом духов письмо напоено. Имя скажи ее. Данилыч, подай мешок. (Выхватывает из мешка горсть денег, бросает их Дуне в подол) Возьми...

ДУНЯ. Придете или нет? Как передать?

АННЕНКОВ. Приду. (Темнота).

(Там же. Ночь. Луна в облаках. Горит фонарь. Сторожа колотят в колотушки. Вдали—гармоники. Степная песня без слов.

В гостинице за освещенным окном — человек в халате, Пьер и Собакин).

ГОЛОС СТОРОЖА.

Колотушка моя,
Осиновая,
Колоти, колоти,
Злой, лихой человек
Уходи, уходи...
Спите, спите.
Сторожа на углах,
Кобели на цепях,
Крепки замки на дверях,
Лихие люди за канавами
бродят.
Спите, спите.

АННЕНКОВ. (Появляется из глубины) Кто она, особа молодая?

ПОЛИНА. (Приближается к нему, на голове ее шаль) Я просила вас прийти...

АННЕНКОВ. Кто вы?... (Отводит шаль с ее лица) Полина!

ПОЛИНА. Я с просьбой к вам.

АННЕНКОВ. Благодарю за чудное доверие. Счастье—исполнить вашу просьбу.

ПОЛИНА. Ночь такая душная. Мне грустно. Побудьте со мной.

АННЕНКОВ. Себе не верю я... Иль это сон? Полина, в Москве вы запретили видеть вас. Я изнемог.

ПОЛИНА. (Просовывает руку ему под руку. Они ходят по площади) Мной руководило благоразумие.

АННЕНКОВ. Но чем я заслужил сегодняшнее счастье?

ПОЛИНА. Случайно я узнала,—вы подвергаетесь большой опасности.

АННЕНКОВ. Страшусь я одного на свете—лишиться вас.

ПОЛИНА. Вы легкомысленны.

АННЕНКОВ. Нисколько.

ПОЛИНА. Сегодня вы жестоко проигрались?

АННЕНКОВ. Пустое. Мелочи. Сейчас вот—главное: вы рядом идете и милая рука в моей руке.

ПОЛИНА. Обещайтесь больше не играть.

АННЕНКОВ. О, нежная заботливость,—я обещаю.

(В окно высовываются Пьер, Собакин и человек в халате).

СОБАКИН. Голос, как будто его.

ПЬЕР. Странно, он слово дал.

ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ. Иван Александрович, мы ждем.

СОБАКИН. Вот, и полагайся тут на слово кавалергарда.

АННЕНКОВ. Полина! Ужасно! Я должен вас покинуть.

ПОЛИНА. Как? Играть? Вы обещали мне.

АННЕНКОВ. Хотя бы только появиться, прометать... Нет, не смотрите с таким упреком.

ПОЛИНА. Но эти люди нечестные.

АННЕНКОВ. Двое из них помещики, соседи.

ПОЛИНА. Они шулера, я знаю.

АННЕНКОВ. Я слово дал. Они сочтут меня за подлеца.

ПОЛИНА. А если я просить вас буду не ходить. (Стремительно) Нет, не хочу, чтоб вы меня считали причиной вашего бесчестья. Не прихоть просьба моя. Вам ловушка расставлена. Я знаю,—жизни вам дороже слово честное. Но разве клятвы были ложны, клялись, что жизни, чести вам дороже моя любовь. Выбор перед вами,—идти туда, или ко мне наверх.

АННЕНКОВ. Полина!.. Что ты сказала?

ПОЛИНА. Стыд зачем показывать мне ложный, зачем скрываться. Я вас люблю. Любовь моя и вся я—ваша.

АННЕНКОВ. Душа моя, краса моя!

(У самой двери дорогу им преграждает человек в халате).

ЧЕЛОВЕК В ХАЛАТЕ. Вот, кстати, любезнейший, и мамзель тащите к нам для развлеченья.

АННЕНКОВ. Вот, передай и получи. (Дает ему пощечину, человек в халате катится с крыльца).

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ.

(В Москве у Анненкова. Прихожая. Анненков в шинели и кивере стоит, задумавшись, у перил лестницы).

АННЕНКОВ. Очарование любви прелестной женщины, чего желать еще? Я молод, счастлив. Мой день наполнен смехом, музыкой и умной нежностью Полины. Хочу я суеты,—друзья к услугам, шумный свет. Да, если бы в стране аркадской в век золотой нам жить! Беспечно, бездумно. Равные среди счастливых. Но жить, заткнувши уши, зажмурясь, отгородясь глухими стенами, коврами, лелея счастье маленькое, личное... Нет, невозможно. Когда Полина целует меня, где-то миллионы женщин плачут безнадежно. Унынье, рабство, нищета! Россия,— на коленях подставившая спину батогам! А мы, в мундирах, с шифром палача, песенки поем французские, гордимся величием империи, кудрями дев играем беззаботно... Верные собаки тирана... Сие противно разуму... Честь продана и совесть опорочена.

ПОЛИНА. (Появляется одетая для прогулки) Я готова... Случилось что-нибудь? Иван, ты снова мрачен. (Гладит его по лбу). С каждым днем морщинка новая ложится на лоб твой милый.

АННЕНКОВ. Не тревожься, Полина. Не ты причиной заботы.

ПОЛИНА. Нет, нет, не уверяй, что любишь меня. Я знаю—не я причина твоих тяжелых мыслей. Пред ними преклоняюсь я...

АННЕНКОВ. Ты думы читаешь мои.

ПОЛИНА. Когда придет беда,—тверже моей руки, вернее друга не ищи. Женщины в несчастьи познаются. (Стремительно обнимает его) Навек—твоя, на смерть, на гибель за тобой.

АННЕНКОВ. Что с тобой, зачем ты плачешь, друг мой верный?

ПОЛИНА. Когда любовь в таком избытке, переплескивается через край слезами она...

(Поспешно входят Пущин и Одоевский, оба возбуждены).

АННЕНКОВ. Пущин! Одоевский! Какими судьбами?.. Что-нибудь случилось?

ПУЩИН. Император, Александр Павлович, умер в Таганроге.

АННЕНКОВ. Тиран погиб!?

ОДОЕВСКИЙ. Скакал я из деревни. По дороге перехватываю курьера. Как громом поразила всех смерть злодея. Весь Петербург в смятении.

ПУЩИН. Кому наследовать престол?

АННЕНКОВ. Константину.

ОДОЕВСКИЙ. Брак моргантический ему препятствует.

ПУЩИН. К тому ж он сам колеблется.

ОДОЕВСКИЙ. Предпочитает балы в Варшаве, утехи княгини Лович трону отцеубийцы.

АННЕНКОВ. Так значит, император Николай!?

ПУЩИН. Ужасно! Тиран, душитель вольной мысли, прусский салдафон!

ОДОЕВСКИЙ. Я возвращаюсь в Петербург. Должны начать мы действовать.

ПУЩИН. Сейчас, иль никогда. Анненков, ты должен быть в полку. На будущей неделе мы назначаем общее свиданье у Рылеева.

АННЕНКОВ. Я выезжаю сегодня в ночь.

ОДОЕВСКИЙ. Прощай. Мы скачем дальше по Москве.

ПУЩИН. Смерть или свобода!

АННЕНКОВ. Смерть или свобода!

(Пущин и Одоевский уходят).

ПОЛИНА. Сегодня ты уезжаешь?

АННЕНКОВ. Прости, Полина... Есть дело тайное и страшное...

ПОЛИНА. Есть высший долг. Ты должен ехать. Будь героем. Вся сила моей души с тобой. Если ты погибнешь—я жить не буду. Но знаю, верю—ты не дрогнешь перед смертью. Люблю тебя. Прощай. (Обнимает его и опускается без чувств.)

КАРТИНА ПЯТАЯ.

(В Петербурге, у Рылеева. Собрание членов тайного общества. Рылеев, Анненков, Пущин, Александр Бестужев (Марлинский), Николай Бестужев, Каховский, Кюхельбекер, Оболенский, Якубович, Щепин, Трубецкой, Ростовцев и другие).

ГОЛОСА. Александр Бестужев, Александр Бестужев!

БЕСТУЖЕВ. Известья достоверные. Великий князь Константин совершенно потерян. Он никого не принимает, не выходит из кабинета. Когда Голицын привез ему присягу из Москвы, где на пакете было написано: «Его императорскому величеству»,—Константин вернул пакет, заметив резко: «Это не ваше дело вербовать меня в цари»...

ЯКУБОВИЧ. (С черной повязкой на глазу) Была бы честь предложена, в цари не хочешь,— чорт с тобой!..

ТРУБЕЦКОЙ. Якубович, не шуми!

БЕСТУЖЕВ. Великий князь Николай Павлович потерян хуже того. Седьмую ночь не спит. Не чает ни в ком поддержки. Решиться не может. Охвачен страхом...

ЯКУБОВИЧ. Труслив, как заяц, блудлив, как кошка...

БЕСТУЖЕВ. Должны воспользоваться мы двусмысленным сим положением наследников престола.

ПУЩИН. Сейчас иль никогда!

АННЕНКОВ. Пред нами век гражданского мужества!

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Братья, ножны изломаны, и сабли спрятать нам нельзя—вперед, во имя человечества.

ЯКУБОВИЧ. Убить обоих, как собак!

КАХОВСКИЙ. Да здравствует республика!

БЕСТУЖЕВ. Я предлагаю план действия. Мы Николаю не присягаем. Мы поднимаем гвар-

дейские полки и послезавтра, четырнадцатого декабря, приводим их на площадь, к Сенату. Мы назначаем диктатора и директорию. Мы об'являем созыв Земской Думы из представителей земли русской.

ТРУБЕЦКОЙ. А ежли неудача?

БЕСТУЖЕВ. Разбиты будем—с войсками отступим к Новгороду и по пути поднимем военные поселения.

ПУЩИН. Уничтоженье самодержавия, освобождение крестьян и равенство перед законом граждан всех сословий—вот наше знамя.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Подобно знамени трехцветному великой революции французской. Обнимемся, друзья и братья...

ЯКУБОВИЧ. Беру я на себя убить из этого пистоля наследника престола.

КАХОВСКИЙ. Берусь и я—клянусь кинжалом.

ТРУБЕЦКОЙ. Ближе к делу.

БЕСТУЖЕВ. Согласны вы на диспозицию?

ГОЛОСА. Согласны, согласны...

РОСТОВЦЕВ. Я несогласен.

ГОЛОСА. Ростовцев несогласен? Ростовцев, ты с ума сошел?! Ростовцев, ты клялся в верности...

ЯКУБОВИЧ. (Скрежеща зубами) Ты жизнью ответишь мне, предатель.

ТРУБЕЦКОЙ. Тише, господа.

РОСТОВЦЕВ. Считаю заговор сей легкомысленным, вождей и весь народ неподготовленными для переворота, и замыслы цареубийства—преступными. (Хватает шарф и кивер) Дабы предупредить последствия ужасные для всей империи сегодняшних речей—сочту за долг осведомить о сем наследника престола... (Выбегает).

ЯКУБОВИЧ. Вернись... Кавказский мой клинок твоей, мерзавец, кровью напою!.. (Его удерживают).

РЫЛЕЕВ. Якубович, перестань безумствовать. Не Ростовцев—другие могут нас предать. Поздно, поздно. Мы не можем остановиться, не должны переменять решения. Послезавтра мы будем лить кровь свою за свободу отечества, за счастье соотчичей, для исторжения из рук самовластия железного скипетра, для приобретения законных прав угнетенному человечеству...

ГОЛОСА. Свобода или смерть!

РЫЛЕЕВ. Да, вернее—смерть. Ею мы дадим пример для пробуждения спящих россиян. Пусть примем смерть и мученичество за свободу. Потомство отдаст нам справедливость и запомнит наши имена вместе с именами погибших за человечество.

ГОЛОСА. Смерть или свобода!

РЫЛЕЕВ. И так, решенье наше твердо?

ГОЛОСА. Твердо.

РЫЛЕЕВ. На чьи полки рассчитывать мы можем?

БЕСТУЖЕВ. Я приведу Московский полк.

ОБОЛЕНСКИЙ. Ручаюсь за Лейб-Гренадерский полк.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. (Поднимая пистолет) Я веду на площадь Гвардейский экипаж.

АННЕНКОВ. Пусть убьют на месте меня, но кавалергарды не вынут сабли из ножен...

ЯКУБОВИЧ. Я принесу мятеж в Измайловский и в Финляндский полк, зарубим командиров, вобьем заряды в ружья—и к Сенату.

БЕСТУЖЕВ. Теперь мы разойтись должны и завтра все в казармы, где уговором, где можно—силой,—раздувать восстание, будить уснувший дух, манить свободой... На улицах прохожих останавливать... Один лишь день у нас для подготовки восстания.

РЫЛЕЕВ. Должны вы выбрать диктатора. Я предлагаю Трубецкого Сергея Петровича. Мы власть ему неограниченную поручим четырнадцатого...

ГОЛОСА. Трубецкого! Диктатором! Просим!

ТРУБЕЦКОЙ. Принимаю, и оправдать доверие всемерно постараюсь.

КЮХЕЛЬБЕКЕР. Увидимся мы в день лишь роковой на площади. Сейчас союз свободы или смерти должны скрепить мы песней в последний раз.

(Все поют песню декабристов на мотив «Veuillons aux salut de l'empire»).

КАРТИНА ШЕСТАЯ.

(Перед Зимним дворцом. Николай в сюртуке. Бенкендорф, Васильчиков. Небольшая кучка офицеров и придворных).

НИКОЛАЙ. (Флигель-ад'ютанту, стоящему во фронт). Я слушаю вас...

ФЛ.-АД'ЮТАНТ. В лейб-гвардии Московском полку убиты командир дивизии, тяжело ранены командир полка и батальонный командир.

НИКОЛАЙ. Так, так!.. Значит—мятеж?..

ФЛ.-АД'ЮТАНТ. Так точно, ваше величество.

НИКОЛАЙ. Привести немедленно... Бегите... (Фл.-ад'ютант бросается бежать, останавливается) Остановитесь, куда вы побежали?.

ФЛ.-АД'ЮТАНТ. Не знаю, ваше величество.

НИКОЛАЙ. (Васильчикову) Князь, на кого я могу положиться?. Вы должны знать. Кто будет стрелять в бунтовщиков?..

ВАСИЛЬЧИКОВ. Ваше величество, полки все ненадежны.

НИКОЛАЙ. Что?.. Ненадежны?.. Что ж—нам отступать?.. Куда?.. В Гатчину?.. В Кронштадт?.. Я спрашиваю...

БЕНКЕНДОРФ. Попробовать Преображенский полк, он присягнул.

НИКОЛАЙ. (Фл.-ад'ютанту) Скачите в Преображенский полк... Вывести преображенцев на площадь с заряженными ружьями... (Фл.-ад'ютант убегает)

ВТОРОЙ АД'ЮТАНТ. (Вбегает) Ваше величество...

НИКОЛАЙ. Говорите...

ВТОРОЙ ФЛ.-АД'ЮТАНТ. В конно-пьонерном батальоне и в гвардейской артиллерии—неспокойно...

НИКОЛАЙ. (с ужасом) Неспокойно?.. (Васильчикову) Найдите мне хотя бы один верный полк... Я требую, прошу... (Слышен марш лейб-гренадеров, топот ног)

ВАСИЛЬЧИКОВ. Лейб-гренадеры, ваше величество... Попробуем...

НИКОЛАЙ. (Кричит идущим лейб-гренадерам) Здорово, молодцы, лейб-гренадеры. Вы куда?..

ГОЛОСА. Да здравствует Константин...

НИКОЛАЙ. (Пятясь) Проходите, проходите... (Бенкендорфу) Граф, пошлите в Аничковский дворец извощичью карету... Непременно простого извозчика... Привести императрицу и детей ко мне, сюда...

МИЛОРАДОВИЧ. (Вбегает в шинели, румяный, веселый) Ваше величество, что за катавасия... Я завтракал—внезапно курьер влетает... Кричит—в полках волненье, кого-то шашкой там зарубили... Что за вздор...

НИКОЛАЙ. Граф Милорадович, во вверенной вам столице—бунт...

МИЛОРАДОВИЧ. Не бунт, а чепуха, ваше величество... Я сам сию минуту помчусь к бунтовщикам... Меня увидят, скажу им слово крепкое и заорут—ура, да здравствует батюшка-царь, Николай Павлович... И через час—ручаюсь—в столице—тишь до гладь... Эй, коня...

(Сенатская площадь. Налево—Сенат, в центре памятник Петру. Вокруг памятника стоят в каррэ Московцы, ближе к Сенату—Гвардейский экипаж. Рылеев во фраке. Кюхельбекер с огромным пистолетом. Братья Бестужевы. Каховский в сюртуке с пистолетами и кинжалом. Перед войсками группы рабочих, вооруженные поленьями. Поодаль—любопытствующие обыватели).

МИТРОПОЛИТ. Братья, оставьте братоубийственный мятеж... Покоритесь власти, данной богом...

КРИКИ РАБОЧИХ. Кто тебя послал! Уходи, чорт долгогривый! Ты к нам, к народу иди! Становись с нами!.. Долой попов!

СОЛДАТЫ.
Я отечеству защита,
А спина всегда избита.
Я отечеству ограда
В мордобое вся награда.
Кто солдата больше бьет,
Тот чины и достает...
Эх... Пальцы рубят, зубы рвут,
В службу царскую нейдут,
Не хочут...

(Митрополит скрывается в толпе. Свист флейт. Появляются моряки. Становятся).

ГОЛОСА. Ура, Гвардейский экипаж... Молодцы, моряки... Спасибо, братцы.

РЫЛЕЕВ. (Александру Бестужеву) Где Трубецкой?

БЕСТУЖЕВ. Не знаю. Не понимаю. Ужасно! Мы—без головы.

РЫЛЕЕВ. Солдаты стоят с пяти утра, не ели ничего, озябли...

КАХОВСКИЙ. Одним ударом на дворец—все было бы кончено.

МИЛОРАДОВИЧ. (Появляется перед фронтом) Здорово, молодцы-московцы. Али не узнали своего командира. Вместе, чай, Наполеону бока ломали. Что же вы, ребята,—присягать не хотите... Брось, айда за мной к законному императору. Присягнем, да—в казармы. По чарке водки...

РАБОЧИЕ. Уходи... Без тебя знаем—кому присягать. Константину присягать. Нам свобода обещана. Бей его. Наваливайся. (Летят поленья).

МИЛОРАДОВИЧ. Константин отрекся. Я свидетель.

РАБОЧИЕ И СОЛДАТЫ. Врет! Врет! Врет! Не верьте ему... Врешь, врешь...

КАХОВСКИЙ. (Подскакивая к нему) Вот тебе, получай... (Стреляет в него из револьвера. Милорадович падает на штыки. Появляются конные пионеры. В них летят поленья. Они отступают).

(Правая часть площади. Николай. Ад'ютанты. Солдаты. Артиллерия).

НИКОЛАЙ. (Ходит в волнении. Перед ним появляется Анненков) Присягали? (Анненков молча глядит на него) Вы бунтовщик! Что?.. Приказываю вам атаковать мятежные войска... (Анненков бросает шашку в ножны, складывает руки на груди. Николай секунду глядит на него, отходит. Анненков возвращается к части).

ФЛИГЕЛЬ-АД'ЮТАНТ. (Вбегает) Граф Милорадович убит.

НИКОЛАЙ. Боже, помоги. (Солдатам) Рукавицы долой! Заряжать... (К солдатам подскакивают офицеры с шашками. Солдаты повинуются). Снаряды привезли?

ВАСИЛЬЧИКОВ. Так точно, ваше величество.

НИКОЛАЙ. Надеетесь на артиллерию?

ВАСИЛЬЧИКОВ. Испытаем.

НИКОЛАЙ. (Артиллеристам) Готовься. Прицел—четыреста шагов. Готовь пальник. По команде первая батарея—пли. (Молчание) Что произошло? Почему они не стреляют?

ФЛ.-АД'ЮТАНТ. (Кидается к артиллеристу) Почему не стреляешь, мерзавец?

СОЛДАТ. Ваше благородие, да ведь—в своих.

ФЛ.-АД'ЮТАНТ. (Ударяет его шашкой) Вот тебе свои.

НИКОЛАЙ. (Подняв кулаки, вопит) Стреляйте, стреляйте, я вам приказываю... (Залп).

ИЗДАЛЕКА КРИКИ. Не надо, не надо, не надо... (Залп).

КАРТИНА СЕДЬМАЯ.

(Кабинет Николая. Николай у стола просматривает листы допросов).

НИКОЛАЙ. Здесь страшный умысел. Готовилось цареубийство. Оружие воздвигнуть на главу помазанника божия и кровь его пролить. О, Господи... Мерзавцы, негодяи... Да как подобная мечта войти в рассудок может... Им казни трудно выдумать. (Оборачивается, кидается к двери) Поди сюда.

АННЕНКОВ. (Появляется) Здесь, ваше величество.

НИКОЛАЙ (Вцепляется ему в грудь, втаскивает в комнату). Что ж,—забыли милости покойного государя... Ваши кутежи, разврат. Гнусное убийство Ланского на дуэли... Покойный брат простил вам... Щадил... За все благодеяния вы заплатили заговором...

АННЕНКОВ. Государь...

НИКОЛАЙ. Молчите... Извольте отвечать—вы состояли в преступном обществе?

АННЕНКОВ. Да, состоял.

НИКОЛАЙ. Еще кто состоял в нем?
АННЕНКОВ. Те, кто признался на допросах.
НИКОЛАЙ. Цель? Какая цель была у общества?
АННЕНКОВ. Хотели лучшего порядка в государстве...
НИКОЛАЙ. Хотели смуты, переворота, безумства кровавого...
АННЕНКОВ. Рабство уничтожить позорное стремились мы... Освободить крестьян.
НИКОЛАЙ. Чтобы скоты, взбесившись, империю предали огню и грабежам...
АННЕНКОВ. Добра хотели мы и справедливости, величия народа русского... Досель он был велик страданием. Хотели мы, чтобы делами, творчеством он равен стал народам европейским.
НИКОЛАЙ. Зараза книг волеторьянских, якобинства... Двенадцатого декабря вы были у Оболенского?
АННЕНКОВ. Да, был.
НИКОЛАЙ. О чем вы говорили?
АННЕНКОВ. О зле в судах и управлениях, о том, что классы низшие бесправны; о том, что у крестьян одно лишь избавленье от страданий—смерть... О том, как зло пресечь...
НИКОЛАЙ (В упор, с пеной на губах) Вы были на собраньи заговорщиков, цареубийц... Отчего же не донесли...
АННЕНКОВ. Мне доносить на товарищей... Но честь, ваше величество,—честь моя...
НИКОЛАЙ. (С бешенством) Вы не имеете понятия о чести... Знаете ли вы чего заслуживаете?...
АННЕНКОВ. Да, знаю—смерти.
НИКОЛАЙ. Надеетесь, что вас великолепно расстреляют. Героем интересным станете... Молвой в салонах дамских... Ошибаетесь... Нет... В крепости я вас сгною... В равелине, в каменном мешке... Красуйтесь перед крысами... Идите вон... (Отворяет дверь. Анненков выходит. Видно, как на него бросаются генералы) Муравьева сюда...

КАРТИНА ВОСЬМАЯ.

(Петропавловская крепость. Сводчатая комната. Решетка. За ней видна Нева. Летят облака. Ветер. Шум ледохода. Дочь смотрителя, Настя, у решетки).

НАСТЯ. Папенька, страх-то какой...
СМОТРИТЕЛЬ. (Входит с фонарем) Ну, что ты кричишь,—какой там страх?
НАСТЯ. Лодка плывет, глядите... А ледоход-то, половодье, ветер... Того и гляди... Ай, папенька. Того и гляди затрет лодку. В ней женщина.
СМОТРИТЕЛЬ. Потонет, и говорить нечего.
НАСТЯ. Пристали. За канат уцепилась. Вылезла. Сюда бежит. А ветер-то, ветер—с ног так и бьет.
ПОЛИНА. (Снаружи у решетки) Пустите меня, умоляю...
СМОТРИТЕЛЬ. По ночам в крепости посторонним лицам быть не полагается.
ПОЛИНА. Примчалась я из Москвы... Сказали мне весть ужасную. Он повеситься хотел... Из петли его вынули... Ему солгали злые люди, что я уехала во Францию, забыла, бросила его... Пустите меня, добрый человек.
СМОТРИТЕЛЬ. Нам добрым быть не полагается, насчет этого строжайше.
ПОЛИНА. (Насте) Вы—дочь его, поймите меня, как женщина... Вы любите, вы будете любить,—когда вам скажут, что друг ваш страдает, разве сердце не разорвется... Позвольте вам на ручку надеть кольцо, на счастье... (Протягивает сквозь решетку, надевает ей кольцо).
НАСТЯ. Пропустите ее, папенька.
СМОТРИТЕЛЬ. (Пропускает Полину за решетку) Вам кого?
ПОЛИНА. Ивана Александровича Анненкова.
СМОТРИТЕЛЬ. Поздно. Да и нельзя его видеть. Не велено.
ПОЛИНА. Вот все, что есть у меня,—сто рублей, пожалуйста. (Дает деньги смотрителю).
НАСТЯ. Папенька, позовите.
СМОТРИТЕЛЬ. Грех, беда с вами... Ну ладно, позову, но не свыше двух минут свидания... (Уходит).
ПОЛИНА. С весны его не видела. Дочка у меня родилась. Измучилась я. А он-то, он-то... Руки на себя накладывал...
НАСТЯ. Помещение сравнительно сухое у Ивана Анненкова. Другие в мешках сидят под полом.
ПОЛИНА. Когда в Сибирь их повезут?
НАСТЯ. Когда государь изволит распорядиться...
ПОЛИНА. Идут. Его шаги. (Входят смотритель и Анненков в тюремном платье, обросший бородой) Иван!
АННЕНКОВ. Полина! (Она бросается ему в объятия) Полина, милая, голубка моя!
ПОЛИНА. Батюшка, родной...
АННЕНКОВ. Ты не забыла?.. Все еще любишь?..
ПОЛИНА. Ты мил мне, как дитя родное. Твои страдания, твои думы, твое отчаяние, судьбу твою несчастную—жалею, люблю, люблю... (Целует ему кандалы).
АННЕНКОВ. Ты жизнь мне принесла. О, милые глаза, о, милое лицо. Полина, ты родила?
ПОЛИНА. Дочь тебе я родила. Темноволосая, как ты. Она в Москве, у бабушки.
АННЕНКОВ. Ты примирилась с матушкой?
ПОЛИНА. Я бедствовала. Все отвернулись от меня. Одна старушка, Шерпантье, при муках моих была. Три месяца я пролежала в горячке. Все ж твоя мать сжалилась—прислала пятьсот рублей на внучку. Но к твоей судьбе она все так же равнодушна.
АННЕНКОВ. Полина, я приговорен на вечную каторгу.
ПОЛИНА. Я знаю. Я приняла решение, Иван.
СМОТРИТЕЛЬ. Ну, довольно... И так уж пять минут прошло...
ПОЛИНА. (Кидается к Насте, срывает с себя шаль, накидывает ей на плечи) Возьмите, вот шаль турецкая, она к лицу вам... Умолите отца еще минутку.
НАСТЯ. Разрешите, папенька, пускай поговорят.

СМОТРИТЕЛЬ. Ну, бабы!

АННЕНКОВ. (Полине) Заботит более всего судьба твоя и дочери.

ПОЛИНА. О девочке не бойся. Меня ж с тобой разлучит только смерть... Иван, мы повенчаться должны.

АННЕНКОВ. Со мною, умершим для жизни— тебе, свободной, молодой, прекрасной... Полина, это жертва страшная...

ПОЛИНА. Я пойду к царю. Он волен убить меня, но над любовью у него нет власти...

СМОТРИТЕЛЬ. Довольно нежничать, пора.

ПОЛИНА. Последнее, что есть—возьмите, образ и цепочка золотая. (Снимает с шеи, дает смотрителю. Он ворча отходит). Иван, все должен ты перенести—дорогу, каторгу, работу в рудниках. Будь тверд и жди. Не знаю,—года, быть может, пройдут, но я добьюсь, и царь свирепый позволит быть мне около тебя на каторге...

АННЕНКОВ. О, жизнь моя!

ПОЛИНА. Пусть в кандалах, пусть по этапу меня погонят... Так обещай мне смерти не искать своей. Мысли мрачные гони. Мы будем ждать друг друга. Надейся. Пусть в камере твоей теплее станет... Когда-нибудь через много, много лет, когда седые станем,—окинем взглядом прошлое, и годы долгие так дивно просветлеют, напоены любовью... (Анненков рыдает).

Тихо старость пеплом
Голову посыплет.
Вспомни этот вечер,
Звезды над Парижем,
Вспомни запах розы
На груди моей.

СМОТРИТЕЛЬ. Окончательно не разрешаю ни петь песни, ни прочее. (Толкает Анненкова) Ступай! Пошел...

АННЕНКОВ. Полина, прощай!

ПОЛИНА. Прощай, любимый друг, мы скоро свидимся...

АННЕНКОВ. Жду, жду тебя.

КАРТИНА ДЕВЯТАЯ.

(Вязьма. Перед парадом войск. Крыльцо дома, где остановился император. Будка. Часовой. Вдали продолжение плац-парада, низенькие с палисадниками домики, верстовые столбы).

(Пятясь, выходят полковник и ротный командир, оба в полной парадной форме. В крайнем волнении, даже с выражением ужаса, они глядят на еще невидимого зрителю, идущего солдата. Издали—звук полкового марша).

РОТНЫЙ. Ваше превосходительство,—это солдат отменный.

ПОЛКОВНИК. Но левый каблук... Левый каблук царапает по земле!

РОТНЫЙ. Сие виною не каблук, а досадные неровности почвы, ваше превосходительство.

(Выходит рослый солдат во всей амуниции и при оружии. Вылупив глаза, шагает по статуту).

ПОЛКОВНИК. Правой, правой, правой!.. Всегда с правой, мерзавец!.. Смирррррна! Правое плечо вперед! Полуоборот направо! Ать—два! (Солдат делает полуоборот, отбив ногу, останавливается)

РОТНЫЙ. Все манипуляции и артикулы выполнены в точности, ваше превосходительство.

ПОЛКОВНИК. Но пуговицы...

РОТНЫЙ. (Смахивает батистовым платком пыль с пуговиц солдата) Пыльца случайная, вследствие ветра, ваше превосходительство.

ПОЛКОВНИК. То-то, пыльца. (Осматривает солдата кругом) Ну, как тут поручиться... А вдруг да государь найдет что-нибудь этакое...

РОТНЫЙ. Этакое, ваше превосходительство?..

ПОЛКОВНИК. Ну и пропали наши головы...

РОТНЫЙ. Пронеси сорок святителей. (Солдату, поднося к носу кулак). Смотри, мерзавец, постарайся. Получишь чарку водки... А выдашь...

ПОЛКОВНИК. Спустим шкуру...

РОТНЫЙ. Шпицрутенами.

ПОЛКОВНИК. (Солдату) Ногу подними... Другую... Обе сразу подними. Ать—два!..

РОТНЫЙ. Сие противно законам природы, ваше превосходительство.

ПОЛКОВНИК. Молчать, не разговаривать. *Для вас один закон природы—государь.* (Ложится на землю, осматривает подметки у солдата) Одна подметка стерта более другой.

РОТНЫЙ. Сие обман зрения, ваше превосходительство.

ПОЛКОВНИК. А гвоздики?

РОТНЫЙ. В равном количестве на каждом сапоге.

ПОЛКОВНИК. (Встает. Солдату) Стой статуей. Никаких шевелений. Не дышать. Ешь глазами твоего императора. (Появляется разводящий и меняет этим солдатом другого, стоящего у будки. Барабаны. Трубы. На крыльцо выходят генералы в парадной форме. Со ступенек сбегает Бенкендорф).

БЕНКЕНДОРФ. Конюшня, а не плац-парад. Вот щепка. Вот куст травы, растущий в беспорядке. (Поднимает щепку, вырывает кустик травы. Потрясает ими) Споткнувшись, государь мог ногу повредить. (Один из генералов вытягивается перед Бенкендорфом). В Сибирь вам захотелось, ваше превосходительство? Земля под светлыми стопами государя должна быть зеркалом—песочек ровный. (Дает ему щепку и траву) Извольте бросить в отдалении, и впредь, чтоб не было неряшества.

НИКОЛАЙ. (Выходит на крыльцо, теребя перчатку) Извольте начинать парад. (Сходит с крыльца. Стоит, грозно глядя на проходящие войска. Генералы рысью бегут к частям. Позади Николая остаются два флигель-ад'ютанта и Бенкендорф. Музыка. Мерные, тяжелые шаги проходящих войск. Рожки. Флейты. Николай топает ногой) Передать второму батальону,—идут, как бабы.

ФЛИГЕЛЬ-АД'ЮТАНТ. Слушаюсь, ваше императорское величество. (Убегает рысью).

ПЕСНЯ СОЛДАТ.

За Дунаем,
За Дунаем, за Дунаем за рекой,
Сабли востры,
Сабли востры, сабли вострые блестят.
Покатилась,
Покатилась Вани буйна голова.
Зарыдала,
Зарыдала раскрасавица-жена.

НИКОЛАЙ. (Весело) Покатилась Вани буйна голова. (Бенкендорфу) Граф, с такими войсками можно заставить трепетать всю Европу.

БЕНКЕНДОРФ. Затрепещет, ваше императорское величество, затрепещет.

(Покрывая удаляющиеся звуки песни, слышен голос Полины).

ГОЛОС ПОЛИНЫ. Пустите меня, пустите, я должна видеть императора.

(Флигель-ад'ютант бежит на голос. Николай обернулся, нахмурился).

ФЛИГЕЛЬ-АД'ЮТАНТ. С ума сошли, сударыня! Кто вас пустил?

ПОЛИНА. (Вбегает. Флигель ад'ютант хватает ее. Она борется). Убейте, казните меня. Я буду молить императора.

НИКОЛАЙ. Пусти ее. (Флигель-ад'ютант оставляет Полину. Она приближается к Николаю) Кто вы, сударыня?

ПОЛИНА. Полина Гебль. Молить хочу я...

НИКОЛАЙ. Француженка?.. (Осматривает ее с удовольствием) Мадам, прекрасной женщине всегда я рыцарь верный. Просите.

ПОЛИНА. (Бросаясь к его ногам) Прошу я высшей милости, благодеяния.

НИКОЛАЙ. Не предо мной, мадам, не предо мной... Но пред такою красотой готов и я в пыли валяться...

ПОЛИНА. Не встану, покуда милости не получу...

НИКОЛАЙ. Готов я разрешить.

ПОЛИНА. Позвольте, государь, идти в Сибирь мне...

НИКОЛАЙ (отскочив) В Сибирь?.. Желанье странное...

ПОЛИНА. На каторгу за человеком, его люблю я больше жизни. Готова я на все—друзей, родных забыть, не видеть Франции, могила матери моей пускай травою зарастет. Пусть тяжкий труд и черствый хлеб моею жизнью станут. Но я хочу быть подле мужа моего, и голову его склонить себе в колени и целовать глаза, когда он изнеможет...

НИКОЛАЙ. Кто этот человек?

ПОЛИНА. Он — государственный преступник Анненков. Должны мы обвенчаться.

НИКОЛАЙ. Волконская и Трубецкая, не слушая резонов, поскакали в Читу к мужьям преступным. За ними тянутся Фон-Визина и Муравьева. А там—другие. Прискорбно. Женщины, дворянки, лишают добровольно себя всех прав равно, как и детей, рожденных в каторге.

ПОЛИНА. Вы обещали милость, государь.

НИКОЛАЙ. Удивляюсь вам, красивой женщине. Ступайте! Вы умерли для света и меня. Я разрешаю вам, но лишь не раньше, чем государственный преступник Анненков желанье из'явит на вас жениться.

ПОЛИНА. Благодарю за счастье высшее—позволить мне любить!

О чуде, происшедшем в Пепельную среду.

ЕВГ. ЗАМЯТИН.

О чуде, происшедшем в Пепельную среду, а также о канонике Симплиции и докторе Войчеке. Потому что это чудо случилось именно с каноником Симплицием, а доктор Войчек был единственным в мире человеком, какому суждено было видеть все это с начала до конца.

Поверить в то, что чудо было когда-то, с кем-то—я бы еще мог, вы могли бы; но что это—теперь, вчера, и с вами—вот именно с вами—подумайте только! И потому когда вечером доктор Войчек приходил к канонику, и они садились за домино, каноник всякий раз спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах? Может быть, такие случаи бывали, хотя бы в древности?

Доктор Войчек щурил свои зеленые козьи глаза, рот его полз, пугая улыбкой Симплиция. Так минуту, две. Затем Войчек крутил по привычке на лбу рыжие волосы—вот справа и слева торчат уже рыжие рожки—Войчек разводит руками:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо. Я бы и сам хотел—не меньше, чем вы—чтобы это как-нибудь все... Но как же, если я своими глазами видел—больше: осязал вот этими самыми руками... Да что там! Н-ну, а как ваш?

Каноник Симплиций знал, о чем дальше: секунду он был дичью на вертеле над медленным огнем—доктор медленно закуривал папиросу, рожки его все острее.

— ...как же архиепископ? Здоров?

— Благодарю вас, благодарю вас. Я был вчера—он чувствует себя прекрасно.

Об особом благоволении к канонику архиепископа Бенедикта знали многие, и никто этому не удивлялся; чье сердце не раскрылось бы настежь, если бы туда постучались глаза каноника Симплиция—эти два младенца, удивленно засунувшие в рот свои пальчики. Или нет—может быть, даже не это; может быть, главное—ямочки у каноника на щеках, да, наверное так. А архиепископ Бенедикт—что ж: в конце концов, и он—человек.

Очень серьезно, разве только чуть пошевеливая рогатой улыбкой, доктор Войчек говорил:

— Дорогой мой, если вас смущает мысль о будущей жизни, о возмездии и о прочем—что понятно—то я могу вас успокоить: это будет во всяком случае не скоро. Есть вернейший способ продлить жизнь до любого срока.

— То-есть—как?

— А так. Вы помните, архиепископ Бенедикт рассказывал, что когда он приехал в Рим—ему пришлось перевести стрелки на своем бре-

гете больше чем на час назад—лишний час жизни, понимаете? Если вы приедете в Лондон—вы прибавите к жизни уже два часа, в Нью-Йорке—целых шесть часов, и так далее. Словом, если вы будете все время ехать отсюда к западу, вы будете прибавлять к своей жизни дни, недели, годы—сколько захотите. Вернейший способ!

Ямочки; младенцы, удивленно засунувшие розовые пальчики в рот. Да, странно, но как-будто—так. Цифры: что ж тут скажешь? А главное—каноник Симплиций уже привык к этому: каждый вечер, уходя, доктор Войчек оставлял в голове у каноника такой вот гвоздь, каноник ворочался в постели, думал, думал, поворачивал гвоздь и этак и так,—нет, Войчек прав, Войчек—ума необычайного. И, конечно, к кому же, как не к доктору Войчеку было обратиться, когда с каноником началось э т о?

Началось это 1-го августа, во время мессы, в день Вериг апостола Петра. За неделю до того каноник был у архиепископа Бенедикта. Только что вернувшийся из Рима архиепископ был особенно ласков, угощал колючим асти, медленным, густым напитком братьев бенедиктинцев, розовой, как младенец, римской лангустой. Обо всем этом и о многом другом каноник рассказывал потом доктору Войчеку, ничего не скрывая—как на исповеди, хотя, может быть, происходившее в тот вечер у архиепископа никакого отношения ко всему дальнейшему не имело. Во всяком случае в день Вериг апостола Петра во время мессы каноник Симплиций в первый раз почувствовал, что он, кажется, болен: кружится голова, в животе какая-то тяжесть.

День 1-го августа был желтый, жаркий, народу много, густой и трудный воздух. Когда каноник поднял сверкающую зелеными лучами гостию и произнес: Corpus Domini Nostri custodiat...—он увидел: какой-то женщине дурно, ее ведут к дверям. И в ту же секунду у него самого каменный пол под ногами стал мягкий, ватный, орга́н—где-то за тысячу верст, в глазах—паутина. Только до крови закусив себе губы, каноник удержался от того, чтобы не упасть, как эта женщина, и довел до конца мессу.

Как янтарные четки—дни: одинаковые, прозрачные, желтые. И четки из холодного осеннего хрусталя, четки из снежно-белой слоновой кости. Все та же тяжесть—теперь уже привычная, и внутри — легкая, пожалуй даже приятная боль. В остальном—каноник был здоров, ему говорили даже, что он полнеет.

Однажды вечером, за домино, доктор Войчек пристальнее, чем всегда, вщурился в каноника своими зелеными козьими глазами:

— А знаете, дорогой мой, мне не нравится ваш вид. Вы бледны. В чем дело?

Каноник рассказал—о мессе, о том, как ему стало дурно, об этой боли в животе.

— Раздеиьтесь-ка. Да раздевайтесь же, говорю вам! Подумаешь: целомудрие! Небось, когда вы...

— Нет, нет—я сейчас, сию минуту.

И—тело: в спальнях у женщин такие бывают кресла, обитые розовым шелком, с теплыми ямочками, складочками, живые—может быть, иногда даже заменяющие своих хозяек. Доктор Войчек острее закрутил свои рыжие рожки, пополз к ушам улыбкой. Но через минуту—серьезен, нагнулся, приложил ухо к обитому розовым шелком телу, пощупал живот.

— Та-ак... Слушайте: чего же вы до сих пор молчали?

— Да я как-то... Мне говорили, что я даже пополнел. А что?

— А то: придется вас резать.

Ямочки, младенцы, испуганно засунувшие пальчики в рот.

— Но почему же? Что у меня такое... ради девы Марии.

— Боюсь, что... Впрочем, вот взрежем—тогда скажу.

— Нет, доктор: что-нибудь серьезное?

— Как сказать: когда вспухнет живот у бабы—это дело несерьезное, а когда у нас с вами—тут уж не до шуток... Вот что: это у вас давно?

Каноник вспомнил: да, с августа—день Вериг апостола Петра—архиепископ Бенедикт вернулся из Рима—ну и... вот тогда же, вскоре.

Доктор Войчек чуть-чуть шевельнул рожками, улыбкой.

— Так, так... Ну что ж?—сегодня у нас понедельник?—в среду приезжайте ко мне в госпиталь.

И вот — среда, та самая Пепельная среда, постом на первой неделе, когда все это произошло. Февральский день, в еще зимнем небе—яркие синие окна, ветер, все летит. Комната—тихая, с жутко-белыми стенами, дверями, скамьями,—как-будто уже не здесь, на земле, где все пестро, шумно, где всегда перепутано черное и белое. В белой комнате каноник Симплиций, замирая, ждал—рядом с какой-то женщиной, похожей на паука: огромный под серым ситцем живот— и кругом живота все остальное —руки, ноги, голова, белые глазки.

Долго сидели молча, каждый о своем. Потом женщина-паук выпростала из живота ногу, каноник увидел расплющенный рыжий ботинок, мотается ушко. Женщина туго, кругло вздохнула животом, на живот— как на что-то ей постороннее— как на стол—положила одну из многочисленных рук.

— Вот, рожаю третий раз—и каждый раз режут... Матерь божия. Зарежут—как без меня будут Стась, и Янек, и Франя? А вы—тоже—к доктору?

— Да, тоже—к доктору Войчеку.

— Вам—что! А я как подумаю: самой старшей восемь лет... Хорошо еще у доктора милостивое сердце, не берет с меня денег...

Кто знает: быть может, скоро канонику Симплицию придется вместе с этой женщиной сидеть уже не здесь, в белой комнате, а в каких-то иных огромных и тихих покоях, там ждать часа еще более страшного— и хорошо, если когда жен-

щина скажет о нем доброе слово... Каноник Симплиций вынул кошелек, высыпал все, что там было и отдал женщине. И в тот самый момент, когда она засовывала все это в свой тугой живот—вошел доктор Войчек, прищурился, пополз на каноника, пугая улыбкой.

— Что, запасаетесь в дорогу добрыми делами? Считаете грехи. Ничего, ничего, дорогой мой: через три недели вы уже опять можете итти есть лангусты. Ну?

Дальше—белизна, сталь, стол, дрожь. Издалека, с земли—огромный голос доктора Войчека:

— Считайте вслух: раз—два—три... Ну?

И нет уже языка, тела—нет ничего, конец.

Но для каноника Симплиция—это было только начало: концом это было для той паучьей женщины, она лежала прикрытая белым, тихая, ее рыжие ботинки были завязаны в узелке вместе с платьем, на узелке приколота записка, а в одной из белых комнат кричал красный ребенок с громадным, мудрым лбом.

Каноник Симплиций расклеил веки: над ним—рожки, прищуренные козьи глаза, но все же этот демон—несомненно, доктор Войчек, и каноник—явно, еще здесь, на земле. А она?

— А она—та женщина, с которой мы вместе?..—больше у каноника не было сил, но доктор Войчек понял, закрутил свои рожки так, что самому стало больно.

— Вам, дорогой мой, повезло больше, чем ей: она уже докладывает кому следует о ваших добрых делах.

В белом углу сзади каноника—какой-то жалобный, странный звук. Каноник хотел повернуться, доктор Войчек сердито крикнул:

— Да вы с ума сошли? Лежите!—шагнул туда и через минуту вышел на белую середину с подобравшим ноги к животу, скорченным младенцем. Каноник Симплиций—на доктора Войчека, на младенца—все круглее, все шире.

— Это... это зачем—откуда?

Доктор Войчек долго молчал, вщуриваясь своими козьими глазами в каноника Симплиция,—все глубже, на самое дно. Вдруг пополз улыбкой, пугая,—чему он улыбался, неизвестно. И, наконец, сказал—очень серьезно:

— Все равно—раньше или позже придется... уж лучше сейчас. Этот ребенок—ваш.

Застывшие ямочки, младенцы с испуганно раскрытым ртом.

— Вы хотите сказать... То-есть как—мой?

— Так—ваш.

— Но ведь я же... пресвятая дева,—ведь я же мужчина.

— Дорогой мой, я знаю это не хуже, чем вы—и тем не менее... Вы же понимаете: мне, врачу, поверить в чудо—а я не могу это назвать иначе, как чудом—гораздо труднее, чем вам, священнику, и все же я—ничего не поделаешь!—верю. Примите это, как испытание—и как особую милость к вам неба.

— Но, доктор, ведь это же—ведь это невероятно!

— А воскрешение мертвых—вероятно? Или вы скажете, что не верите в это?

— Нет, нет—я верю... Каноник трудно думал. Но почему именно я—я?

— Быть может, в наказание за какие-нибудь ваши грехи—откуда я знаю? Быть может, потому, что небо избирает своим орудием простые сердца, а вы, к счастью, просты сердцем—как младенец. Ну, успокойтесь, успокойтесь, вам вредно... Это—сын, мальчик.

Что ж оставалось канонику Симплицию, когда даже доктор Войчек—Войчек!—поверил в чудо. Каноник принял это и нес так же покорно, как апостол Петр свои вериги. Ему казалось даже, что он знает, за что небо так наказало и наградило его. Только иногда вечерами, когда они сходились с доктором за домино, каноник спрашивал робко:

— А все-таки... все-таки, может быть, вы что-нибудь нашли в своих книгах?

Но ответ всегда был один и тот же:

— Нет. Ничего не поделаешь, дорогой мой: чудо.

Доктор Войчек свято хранил тайну чуда, происшедшего с каноником Симплицием в Пепельную среду. Он рассказывал многим, что каноник по доброте взял на воспитание сына одной умершей бедной женщины—и слава каноника росла, и рос мальчик, Феликс.

Когда Феликс называл каноника «папа», каноник становился нежно, шелково розовым.

— Не называй меня так, Феликс.— Я не папа тебе. Мальчик морщил свой большой, умный лоб, молчал, спрашивал:

— А мама? Кто моя мама?

Каноник—еще шелковее, розовее:

— Это тайна. Я открою ее тебе только в тот день, когда навеки закрою глаза.

Этот день, по воле судьбы, был тоже в феврале, как и та самая Пепельная среда, и такие же облака, ветер, в зимнем еще небе—яркосиние окна. На стене перед каноником медленно и невероятно быстро летел темный крест—тень от рамы. Ухватившись крепко за этот крест, каноник Симплиций стиснул зубы и кивнул Феликсу.

— Теперь, Феликс... Нет, доктор, не уходите: все равно, вы знаете это, и вы подтвердите ему, что это—так. Ты, вероятно, думал, Феликс, что я твой отец. Так вот: я—твоя мать, а твой отец—покойный архиепископ Бенедикт.

Каноник последний раз увидел: огромный, как у архиепископа, лоб Феликса, рыжие рожки доктора, что-то светлое—как слезы—в его козьих глазах, и—как это ни странно—канонику показалось, что доктор Войчек смеется. Впрочем, все это смутно, издали, сквозь сон—младенец уже засыпал—навеки.

Пивная „Красный Отдых".

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ:

Необходим анализ, прежде всего, граждане, необходим доскональный анализ. При ближайшем рассмотрении все разоблачается. Что такое пресловутая любовь, эти томики «Всемирной Литературы» в папках или без папок? Совокупления капиталистических акул. Точка. Найдены токсины усталости. Поищите, и вы найдете микроба жизни. В особом растворе ухо, отрезанное ухо великолепно живет само по себе, без головы, сохраняя гуд трамваев, и агонию истлевшего собственника.

Можно, наконец, жить вовсе вне времени, *стóит только построить мотор*, равный скорости света. Здесь начинается вечность, не обман «живцов», которые под флагом социального милосердия распространяют все тот же опиум, нет, настоящая строго-научная вечность. Анализируйте, граждане, в свободные от работы часы!

Если же напряжение интеллекта вызовет законную жажду, зайдите в пивную. Бутылка 40 копеек. Анализ может продолжаться среди трудового и нетрудового элементов, над измельченными теоремами моченого гороха.

«Красный Отдых». Отдых? Не верьте! Напряженнейшая работа мозгов, мышц, желудочных кислот. Отдыха вообще не существует. Даже *сон — производственное задание дублеров жизни*: фантазия (формула?), мечты (базис?), искусство (?). Даже смерть—это рациональное удобрение почвы и расчистка жилищной площади. В пивной до 3 полуночи воздух твердеет от интенсивности процесса. Еще бутылочку!

Гражданин, до ворота наполненный солодовым настоем и энергией, обхаживает икса, чья идейность сказывается хотя бы в пришитых белых пуговках от кальсон или пугливом прикосновении к пивной пене (*«совместимо ли»?*)

Партия единых государственных флагов установленного образца. Вышитая эмблема. Медные наконечники. Размер 15 на 30 за 100 штук 25 червонцев. 5% комиссионных. Дальше барабаны. Замечательные пионерские барабаны, высшего качества.

Справиться у Мейерхольда. На западе фокстрот. Здесь же красные стадионы. Мимо пивной трусят в купальных трусиках комсомольцы. Курносые блики повернуты к солнцу и к победе. Если престарелая Вафля и умрет от охальства, это исключительно недоразвитость. Красная физкультура—лозунг дня.

Пиво всем—комиссионеру, скромному, комсомольцам, старой Вафле (с того света), рабкорам, мне, вам. 40 копеек бутылка. Рабкор—тот обличает: тащут мазут, тащут среди бела-дня из баков. На линованном листочке выводится скорее кончиком сосредоточенного языка, нежели вставкой: «классовый эгоизм или правду сказать, безусловный хищник, так что просим, товарищ редактор, его на черную доску, а после куда Макар телят не гонял». Хвалитель барабанов пугливо озирается—очевидно «барабан» и «Нарым» не совместимы. Зачем там флаг установленного образца 15 на 30? Потряхивая локтями, по улице несутся комсомольцы. Громкое дыхание. Громкая жизнь. Пиво всем. Даже кондуктору. Даже фининспектору. Даже «живцу».

Только угодникам ни пива, ни гороху, потому что их нет, они фикция, обман.

Чаще всех в пивную «Красный Отдых» заходил Александр Ильич Сахаров, столяр-краснодеревец, 54-х лет, член профсоюза, беспартийный, причастный, однако, к культурному строительству. Звал он себя (и от других того же требовал) «гражданином Адамантом». Пиво пил умеренно, для процесса, между двумя глотками читая журнальчик «Смехач» или научную хронику «Известий». Беседовал с кем приведется, главным образом с хозяевами, вследствие текучести состава и длинноты иных сентенций, прерываемых на пятом или шестом придаточном уходом собеседника. С хозяином играл в дамки. Все шло хорошо. Анализ углублялся. Несмотря на налсги, пиво, просачиваясь, оставляло черный слой. Вмешалось событие, само по себе радостное. *Метафизическое закругление форм* обозначило, что жена хозяина, Нюся Федосеевна (ну и выдумали!) ожидает приплода. Радоваться бы надо?.. Что же, радовались. Радовался хозяин, Иван Егорович, радовался и гражданин Адамант. Последний не бескорыстно: человек жил анализом, в мирное семейное событие на Шабловке он обязательно хотел вмешать пытливый дух. Результаты налицо. Впрочем о результатах после.

Мокрицы, фита и ижица. «мокроступы» (из словаря), монашки, просфоры, паразитическая рать в союзе с банкирами Сити, как известно, многого испугались. Ходил прошлой зимой в пивную «Красный Отдых» подобный нарост на теле, явный мистик, безусловно занятый обновлением икон или фабрикацией чучел, которые свиным пергаментом и конской челкой волнуют выживших из ума бабок. Тот видел в естественной перемене стиля сатанинский заговор: тринадцать дней похищены для вывода в инкубаторе «Красных дьяволят» (иллюзион «Спартак») из холодного семени книжника Леонардуса. Но что остается от подобных суб'ектов при трезвом свете науки? Пророка этого арестовали в пивной агенты Мура за кражу из склада «Моссельпрома» копировального пресса и за совершение трех незаконных абортов. На допросе «инкубатор» исчез, и паразит преглупо бубнил: «хожу на дом морить крыс, мышей, а молюсь обо всех, включая национальные меньшинства».

О таких говорить не стóит. Моль, белесоватую труху мощей и мозгов следует истреблять электрификацией. Гражданин Адамант, если и осуждал новый стиль, то совершенство—отстает, и этот отстает! Надо регулировать с безусловной точностью. Суть в числе. Таковы последние данные цивилизации. Конечно, диктатура пролетариата и беднейшего крестьянства прогрессивный факт, но необходимо снабдить ее высоким знаменателем. Исцеляют рак и подают сигналы планетарным товарищам—все при содействии известных таблиц. В темноте плоти—пот и отрыжка, летят стружки волос, стружки зубов, стружки чувств, так делают дрянные столы для потогонных чаепитий. А с числом выходит дредноут—металл держится на воде, как поплавок. Признание Францией? Очень приятно. Иван Егорович, бутылочку с моченым! Может быть, на 54-м году и гражданина Адаманта кто-нибудь признает, скажет: эта молекула фактически существует. Но подобными деталями интересоваться, когда остается минус бессознательного вращения земли, вне всякого разумного контроля. Направлять бы ее по установленным рейсам, также ход народонаселения, пропорцию рождения и смертей, в виде лабораторной обработки сырья, то-есть, тканей.

Вот какие задания волновали гражданина Адаманта. Естественно, что беседы с Иваном Егоровичем, даже невинная игра в шашки насыщала пивной воздух копошением умственных бацилл.

— Дамка, она, как идея, по диагонали ходит, не считаясь с начальной арифметикой. Выдвижение числа и твой полный разгром, Иван Егорович, на просветительном фронте. Сдавайся!

Бедный Иван Егорович, каково ему было это слушать? Можно стерпеть и несправедливые выкладки фининспектора и чрезмерную жажду милицейских и толки о конце нэпа и штрафы, даже штрафы, но не такое углубление. Человек терялся, плошал, неуместно потчевал:

— Может, тебе воблы дать, гражданин Адамант?

Но произнося последнее, сам чувствовал, что слова не те: «Адамант» и вдруг «вобла»!.. Что если вправду пиво здесь не при чем? После семи фронтовых лет голова не одолевала даже отрывного календаря, где популярно излагались заслуги основоположника Фридриха Энгельса. Счетом пивных бутылок и пересудами о характере нового начальника милиции ограничивались бы его дни, если бы не гражданин Адамант, уплотнявший мозги мучительными своими проблемами. Атавистическая тоска подымалась в сердце калужского мещанина и «беседа трех святителей», борода козла и борода Адама, даже устойчивость китов примешиваясь к загадочному «электрофону» или «к лучам икс». Он страдал. Он сам ел воблу и, корчась от жажды, но пиво жалея, пил воду, теплую сомнительную воду, отдававшую металлом, который держится при помощи числа на волнах, как поплавок. О... «господи»?.. Нет, Иван Егорович не такой. О, вождь!

Спасением должно было явиться указанное выше семейное событие. Наравне с животом Нюси Федосеевны росли и отцовские чувства. Накапливание червонцев приобретало лирический оттенок. «Красный Отдых» мог бы и впрямь стать отдыхом. Но дух гражданина Адаманта, этот универсальный хлопотун, был тут как тут. Только-только поделились с ним трогательными упованиями, как он уже начал анализировать. Вместо того, чтобы выпить на радостях бутылочку за 40 копеек (и веселее и будущему папаше прибыль), он немедленно приступил:

— Если сеют, скажем, клевер, не ждут тыквы. Так и с человеческим естеством. Ты вот знаешь, кто у тебя будет—сын или дочка?..

— Сынка бы...

— «Бы»!.. Наукой вздохи превращаются в факты, причем не только половое обозначение, но и задатки, то-есть, жизненный путь. Зачем твоему сыну преть над моченым горохом, когда он может стать электро-математиком. Тогда-то все числа будут в его руках. Это тебе не пивные бутылки.

— Брешешь ты, гражданин Адамант! Насчет корабля верю. А бабе в нутро залезать—разве мыслимо это?

— Я брешу! Отсталость твоя брешет. Если бы не культурные начинания советской власти, ты бы меня и на костре сжег. При чем тут нутро? Здесь не в хирургии центр, а в числе, то-есть, в упрямой воле. Можешь журнал себе выписать через государственную книжную торговлю, два рубля,—там все обозначено.

Егор Иванович отчаянно вздохнул, прощаясь с последней надеждой, с уютным копошением (как встарь) темной жизни, а гражданин Адамант принялся за работу. Все свое внимание он теперь отдавал Нюсе Федосеевне. Трогательное недоумение ее глаз, овощных и молочных, передававших исключительно естественное накопление отлагаемой жизни, не останавливало гражданина Адаманта. Начал он с простейшего, пугая полудремоту апатичной хозяйки внезапными и потому неправдоподобными, как гром в театре, выборками из таблицы умножения:

— Семью девять—шестьдесят три.

Нюся Федосеевна дрожала, и горох сыпался из рук ее мужа, ровный крупный горох, счет горошин, число, отчаянье.

Потом он принес купленный на Сухаревке старый учебник тригонометрии. Тоска Нюси Федосеевны оказалась окруженной страшными чертежами.

— Я ведь не понимаю этого.

— Все равно. Глядите и отдавайтесь упрямству цыфр. Они входят сквозь поры сами по себе, как энергия света.

Не выдержав, Иван Егорович как-то взмолился:

— Может быть, не нужно, гражданин Адамант!.. Пусть будет столяром, что ли, как ты. Сил нет...

— Поздно, Иван Егорович! Вошло в гомункулус, обязательно вошло. И говоря это, он вынул из кармана лотерейный билет. Пред травой и молоком беззащитной Нюси Федосеевны вырос тотчас же номер «185612».

— Есть!

По ночам Нюся Федосеевна кричала, соединяя железные числа с богородицей и с зеленью лужаек, где безмятежно цветут кашка и колокольчики. Цветочные дисканты по церковному повторяли «электрофон» и «гомункулус»: это в поры входило число, а из пор выходил злой пот ужаса. Опасались преждевременных родов. Обошлось, и 12-го мая у владельца пивной «Красный Отдых» родился младенец, как и следовало предвидеть, мужского пола. Веривши науке лишь наполовину, Иван Егорович сообразил: это не шутка. Вместо того, чтобы радоваться, он только испуганно поглядывал на ангелически пустые глазки новорожденного и шептал:

— Вот она, электро-математика...

Октябрины отличались угрюмой сосредоточенностью. Нельзя назвать иначе, как зловещими ауспициями, вскрики Зета из «Кожтреста», после трех бутылок возомнившего себя астрономом:

— Эпилепсия планет и пошлый адюльтер спутниц. Статистам в «Аэлите» выплачивают по 2 рубля при полном ослеплении глаз. Спрашивается, какое же на Марсе социальное законодательство? И вообще существует ли этот Марс, или он только оптическое воображение моей дезорганизованной мечты? Имя. Наименование. Улица Фридриха Лассаля. Столица Норвегии—Осло. Папиросы «Красный Дипломат», «Месс-Менд». Кто же не понимает, что имя является предрешением дальнейшей судьбы.

Иван Егорович—тот долго упрашивал:

— Назовем Ильичем. Хоть и отчество это, но ясный звук.

Говорил «назовем», понимая, что настоящий родитель не он, тупо бессознательно возившийся по ночам с Нюсей Федосеевной в темной комнатушке, кислой от пивного духа и от мещанских грез, нет, другой, подходящий сквозь кожу и мясо, как дикие «лучи икс».

— Назовем...

Гражданин Адамант был, однако, непреклонен.

— Имя «Нумбер», то-есть, чрезвычайность числа и конечная победа. Будет управлять движением земли—вот как!

Нумбер заумно пищал, еще свободный от грядущих заданий. Пупок был тривиален, но весь особенный, как бы корректированный досрочным воспитанием. Ивану Егоровичу оставалось прибегнуть только к универсальной, как жизнь, горечи пива. Опасаясь соприкосновения с числом, бутылок он не считал. Хмель отстаивался. В насыщенном растворе отчаяния намечались кристаллы. Посетители, понимая значимость часа, поддерживали хозяина спросом повторных бутылок и абстрактной бурей, звездной бурей уголовно недоказуемых возгласов. Конструктивист, хоть последний из могикан, держал спич:

— Несмотря на митинги «ахровцев», мы внедряемся в производство. Говорят, мой стул негоден для сидения. Вздор! Он вычислен. Он точен, как теорема. Виноват зад, исключительно человеческий зад, этот ком бесформенного мяса. Не снижать выкладки до запросов седалища должны мы, но, превращая жизнь в трудовые процессы, видоизменить самое форму вялых мяс, сделать зад динамическим треугольником.

Продавали партию маринованных груздей, юпитера для кино-с'емок, наждак, подшипники, любительские радио-телефоны, толь и темное, как портер, отчаяние.

В задней комнатушке над рассыпанным горохом вздыхала Нюся Федосеевна, и, приступя к трудам, бессонный Нумбер кричал на санскрите или грядущем воляпюке о сумме сумм, также об опрокинутой безумием восьмерке, о предполагаемой бесконечности.

— Когда восьмерка лежит на боку, тогда и конца нет,—подтвердил гражданин Адамант.

Иван Егорович тупо переспросил его:

— Конца нет?

После чего просто, будто сдирая серебряную капсюлю с пивной бутылки, оторвал он голову своего страшного сына. Нумбер больше не кричал о сумме сумм: земля лишилась грядущего регулятора. Посетители, еще ничего не зная, продолжали заливать пивом изжогу и печаль.

— Зовите милицию!

Это кричал сам хозяин, обычно пуще налогов боявшийся протокола. Кража! Скандал! Нет, огромное человеческое...

Сиротство широкоплечего балды, тоска пяти пудов и тридцати пяти лет, калужское тесто, вобла, беда, да беда: умер, умер Нумбер, первенец, Нумберчик или Нумбик!

Пожалейте! У него был пупок, самый обыкновенный пупок!..

Детоубийцу увели. Возле пивной «Красный Отдых» всю ночь стоял гражданин Адамант и плакал. Кто определит удельный вес этих невыносимых слез?

Впрочем, анализ все устанавливает: влага, органические соли,—словом—выделение, то-есть, категорическая ерунда.

* * * *

Вы, с квадратными окошками
Невысокие дома—
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима.

И торчат, как щуки, ребрами
Незамерзшие катки,
И еще в прихожих слепеньких
Валяются коньки.

А давно ли по каналу плыл
С красным обжигом гончар,
Продавал с гранитной лесенки
Добросовестный товар.

Ходят боты—ходят серые
У гостинного двора.
И сама-собой сдирается
С мандаринов кожура.

И в мешечке кофий жареный
Прямо с холоду—домой:
Электрическою мельницей
Смолот мокка золотой.

Шоколадные, кирпичные
Невысокие дома.
Здравствуй, здравствуй, петербургская
Несуровая зима.

И приемные с роялями,
Где, по креслам рассадив,
Доктора кого-то потчуют
Ворохами старых «Нив».

После бани, после оперы—
Все равно, куда ни шло—
Бестолковое, последнее
Трамвайное тепло.

О. Мандельштам.

Червонный казак

Марийке Петровской.

«Черкес оружием обвешан,
Он им гордится, им утешен...»

А. Пушкин.

В слезах с растрепанной косой
И с грудью, брошенною настежь,
Зачем ты закрываешь сон,
Зачем испугом ласку застишь,
А в материнском сердце буря.
Природе ведать не дано,—
Зачем она детей рожает,
Зачем дрожит:—чтоб вновь войной
Убили? А за что сражались?
Зачем не жили? За волной
Событий ходят песен волны,
А за твоею головой
Пусть рифмы, радуг голубей,
Бесстрашней сизых голубей
Бросаются,—я все вас помню
В слезах с растрепанной косой...

* * *

Сняв ружья с белого плеча стен,
Казак с казачкою прощался,
И тут, где жизнью величался,
Где с жизнью в очи повстречался,
Встречая безмолвье словом тем,
Какое, отскочив от стен,
К ним не хотело возвращаться,
С ним не хотело расставаться,
И громко спорило: надень
И саблю—на, да не печалься.
Тебя зарубят в ясный день...
И вновь хотелось поглядеть
На белых грудей лебедей,
И вновь он припадал к их клювам,
К их красным клювам жадным ртом
И усом трепетал: люблю вас.
С казацкой гордой простотой.
Могла ль теперь казаться грубой—
Мысль, что казак вернется трупом,
Она ж останется все той,
Все той же бабой полногрудой,
Да только—бедною вдовой.
Пойдет к обедне, за водой,
К соседу с небольшой услугой...
— Дай молвить слово!.. да постой!..
И очи жаркие, как уголь,
То потухали за золой
Ресниц, то искрами испуга
Мерцали, то горел огонь,
Его вздували видно губы,
Шептали нежное: не тронь!
А сердце било в груди бубен:
Казаченько! Мой милый, любый...
Так вот она перед тобой
Лежит—Данилина долина,
Чтоб руки бурые, как конь,
По ней до гор,—до этих грудей,
До этой гордости нагой
Скакали мимо берегов
И отражали очи друга,
Как лоно тихого Днепра,
Другие очи—и упруго
Несли его... Так до утра
Казак, в оружие одетый,
Прощался и хотел ответа,
А может просто ждал соседа,—
Со звоном сабли выходил,
Где конь вздыхал, всю ночь не кормлен,
И засыпал в корыто зерна,
Но больше в хату на порог
Уж не вступал:—с тем будет горе,
Кто б той приметы не берег.
Прощай, прощай казачья хата,
Казачья песня, стон копыт...
Но, глядя вслед, нельзя и плакать,
А только воду можно пить.
У каждого крыльца, колодца
Есть дочь у деда запорожца;
(Он не выходит за порог),
Хотелось с ветром ей бороться.—
Грудь подымалась под сорочкой,
Как враг, укрытый под горой.
Еще измученная грудь,
Что памятью об'ятий ныла,
Тебя хотела бы вернуть,
Несметный есаул Данила.

Дм. Петровский.

ЗАПАД

„Долой классовую борьбу!“

Адольф Рифлинг.

(Письмо из Берлина.)

Я, к сожалению, не успел повидаться с Вилльямом З. Фостером. Он остановился на несколько дней в Берлине проездом в Москву. Я как раз в это время был в от'езде. Приношу извинения... Я вижу сам, что я плохой для вас корреспондент—потому, что у меня любопытства больше, чем любознательности, турист затмевает во мне политика. Я уехал в горы в Швейцарию... Кстати, я могу рассказать вам много любопытного про швейцарских коммунистов. Это—особая порода, особый вид, особая разновидность людей. Но об этом в следующий раз... Я еще и потому плохой для вас корреспондент, — плохой *германский* корреспондент,—что я пишу вам из Берлина не-германские письма. Но вы себе представить не можете, что за скука—Германия! И что можно писать о Германии?! Крах плана Дауэса? Но ведь это же так скучно — очевидно!..

В этом письме я хочу констатировать несколько фактов, которые на первый взгляд могут показаться вам американскими—потому что вы, как и всякий человек, привыкли думать географически, территориально, на самом же деле эти факты общечеловечны, повсеместны,—если хотите, можно так сказать: эти факты, американские по своему характеру (подчеркиваю: по своему *характеру*, а не по территориальной своей ограниченности),—эти характерно-американские факты имеют общемировое значение... И тут, как везде, как во всем, американское пленение,—американское засилье,— ведь вы знаете, Европа «американизируется» с катастрофической быстротой,—сама того не замечая,— Америка захлестывает нас...

Но вернемся к Виллиаму З. Фостеру. Этот выдающийся человек, в котором есть нечто органически-ленинское, выростет, несомненно, через несколько лет в общемировую фигуру. Он будет вождем восстания в Американской Федерации Труда—этого вполне достаточно для того, чтобы вырасти в общемировую фигуру... Он чрезвычайно сдержан, но мысли глубокие. И что самое главное, что всего важнее,—он обладает этой специфически-ленинской прозорливостью — он смотрит вперед,—у него, как и у Ленина, нет анализа без прогноза,—анализ делается *для* прогноза, *ради* прогноза. Это значит: вождь... Я лично возлагаю на Фостера очень большие надежды. Восстания в Американской Федерации Труда я жду с нетерпением...

Эти факты, которые я желаю констатировать, могут быть кратко формулированы...—Впрочем, тут даже не факты, а один только факт—основной—outstanding—все остальное—его, основного факта, детали, атрибуты. Основной этот факт—стабилизация классового мира... Я с умыслом употребляю здесь выражение «стабилизация». Я хочу в некоторой степени противопоставить *эту* стабилизацию той стабилизации капитализма, о которой у вас так много писали и говорили... Я хочу сказать вот что: стабилизация капитализма—где она? На наших глазах распадается, разлагается величайшая мировая империя—Англия; на наших глазах рушатся—крушатся эти пресловутые дауэсовские подпорки; на наших глазах, — и это, по-моему, самое важное, — на наших глазах поднимается Восток. И сейчас, сегодня говорить о стабилизации капитализма—извините меня—смешно... у вас это поняли... Но нам, в Европе, было ясно еще год назад, еще полтора года назад, что стабилизация капитализма—пустая эфемерная формула, и что никакой реальной угрозы, никакой реальной опасности нам тут нет. А вот в стабилизации классового мира я вижу реальную опасность.

Основная моя мысль вот какая: классового мира до сих пор, то-есть, до нашей эпохи, никогда еще и нигде не было. Были классовые перемирия—временные; то более, то менее продолжительные. Все-таки перемирия эти рассматривались всеми, как нечто временное, как нечто преходящее, продиктованное некоторыми чрезвычайными обстоятельствами,—не будет этих чрезвычайных обстоятельств—и кончится мир, и снова начнется война... Вот, например, Гомперс, этот апостол классового мира...

Мелкобуржуазный вождь рабочего класса—вот что такое Гомперс, — мелкий буржуа до мозга костей, лавочник. В первой, генеалогической, главе своей автобиографии он с чисто лавочническим самодовольством сообщает читателю:

— Я горжусь тем, что в моем роду было много раввинов и биржевых маклеров.

Это, друзья мои, limit. Раввины и биржевые маклеры—дальше итти некуда.

Гомперс был председателем Американской Федерации Труда и одновременно вице-председателем Национальной Гражданской Федерации. Председателем этой последней Федерации был Эндрю Карнеги, стальной король... Карнеги был лучший друг Гомперса... Национальная Гражданская Федерация ставила себе целью «содействовать мирным сговорам между капиталом и трудом»—так гласит пункт первый ее устава. Но вы обратите внимание: содействовать мирным сговорам—то-есть, *отдельным* мирным сговорам, от времени до времени, от случая к случаю. Все-таки, значит, *спорадические сговоры*,—вы понимаете меня? Все-таки, значит, отдельные проявления, отдельные моменты...

А вот сейчас устанавливается классовой мир, как нечто постоянное, как нечто незыблемое. Классовый мир стабилизуется на тысячелетия... Заметьте, это не мое слово—«тысячелетия», это слово совершенно сознательно, в полном сознании ответственности, произнесли инициаторы и вожди этого движения...

Американская Федерация Труда идет к уничтожению классов... *Вы* идете к уничтожению классов

через социализм, через коммунизм; они нашли другие диаметрально противоположные пути... Они хотят уничтожить пролетариат, как класс. Они хотят влить пролетариат в буржуазию. Они хотят обуржуазить пролетариат...

Тут в замысле—полное переустройство производственных отношений.

Поймите, прежде всего, вот что: для того, чтобы стабилизовать классовый мир на вечные времена, чтобы окончательно и бесповоротно уничтожить классовую борьбу, надо уничтожить классы, уничтожить деление на классы—ни больше, ни меньше... Вдумайтесь: уничтожить классы, но в то же время сохранить в полной неприкосновенности капитализм. Перестроить общество, создать новую структуру, не-классовую,—но в то же время сохранить экономическую базу, на которой зиждется современное классовое общество. В этой экономической базе допускаются только самые легонькие, самые поверхностные изменения, а социологическая надстройка, которая на этой базе покоится,—и с этой базой органически связана,—социологическая надстройка должна быть... должна быть разрушена до основания и заменена совершенно другой, совершенно новой, совершенно противоположной. Ни больше, ни меньше... Я хочу, чтобы вы поняли, что тут перед нами—колоссальный общемировой по захвату своему социологический эксперимент...

Первая задача тут психологическая: перевоспитать рабочий класс. Конечно, задача рассчитана на многие годы, на десятилетия и столетия... Перевоспитать рабочий класс, создать новое поколение рабочего класса,—новое поколение без классовых инстинктов. Без классовых «предрассудков»,—так они говорят. Создать новый тип рабочего, для которого классовая борьба невозможна, немыслима, непонятна; для которого немыслимо, невозможно, непонятно—пред'являть требования работодателю, грозить, бастовать...

Есть множество подходов к разрешению этой задачи. Эта задача распадается на множество отдельных подчиненных, второстепенных, частных задач. И есть тут *одна* частная задача, на которую, по моему мнению,—вам—именно вам—следует обратить особое внимание. Я формулирую эту *задачу* нарочито грубо, вульгарно—так:

— Сделать труд приятным.

Ведь очень важно: до сих пор еще—это позор!—до сих пор еще и даже в Союзе Социалистических Советских Республик—фабрично-заводский труд неприятен, — вы задумывались над этим вопросом? Фабрично-заводский труд неприятен, тяжел, грязен... Скажем так—грубо, вульгарно: если вы скажете рабочему: послушай-ка, милейший,—или,—послушайте, товарищ, (почтительно)—вы получаете на фабрике за вашу работу,—за столько-то часов труда столько-то рублей (или марок, или франков, или долларов),—все равно, так вот, товарищ, мы вам будем выдавать эти же самые франки, доллары, марки, рубли в том же количестве и с той же регулярностью—все-равно, если вы и *не* будете работать,—будете ли вы тогда работать? То-есть, проще: захочет ли рабочий работать, если труд станет добровольным, зависимым исключительно от доброй воли работающего? Конечно, нет, не захочет. Конечно, рабочий, к которому вы обратитесь с таким вопросом, сочтет вас сумасшедшим (извините). Конечно, никто не будет работать добровольно. Но ведь это... ведь, это ненормально. Поймите... Труд должен быть приятным сам по себе, без всяких inducements. Сделать труд приятным—вот одна из важнейших задач, стоящих сейчас перед человечеством... Вы подумайте: какие перспективы тут открываются в смысле повышения производительности труда человеческого и машинного?.. Какие,—кроме того,—*культурные* перспективы открываются здесь... Сделать труд приятным и добровольным, без inducements,—ведь вы пойдете—непременно пойдете—по этому пути, как только у вас явятся достаточные для этого экономические предпосылки... А для *них* это путь к изменению психики пролетария, к переустройству души рабочего.

Эта задача решается прежде всего в области техники. Первое слово принадлежит тут Эдиссону и всем предбудущим Эдиссонам... И ведь вы тоже, когда у вас явятся достаточные для этого экономические предпосылки и свои Эдиссоны — ведь вы тоже, — ваши Эдиссоны тоже пойдут по этим путям. Изобретать такие машины, которые облегчают, которые делают приятным, желанным фабрично-заводской труд... Через двадцать лет машинные залы на фабриках и заводах будут убраны цветами, а вопрос о сокращении рабочего дня, как он стоит сейчас, станет бессмыслицей...

Другая еще частная, второстепенная задача, ведущая к той же цели, к переустройству души пролетария, — открыть перед работающим на фабрике или заводе рабочим *лотерейные перспективы*. Ввести в зарплату элемент игры. Определенная зарплата—это скучно. Тем более, что определенная эта зарплата чрезвычайно низка, угнетающе низка. Отсюда скучность жизни рабочего. В театр пойти можно только на галерку. Новый костюм будет все-таки скверный, дешевый костюм. Бороться с этим, с этой скучностью жизни надо не путем повышения заработной платы,—повышение заработной платы абсолютно ничего не дает. Что же—еще несколько грошей, еще и еще, но вопрос ведь так и остается все время в плоскости грошей, в области грошей. Нет,—не повышение заработной платы, а введение в заработную плату элемента игры, элемента азарта, элемента риска, элемента предприимчивости. Это влияет на психику. Это обуржуазивает рабочего... Но, конечно, введение элемента лотерейности не должно делаться по этой старой, изжитой, такой плоско-элементарной формуле: участие рабочих в прибылях. (Profit-sharing). Это было ново при Гомперсе, сейчас уже это безнадежно устарело. А нужны новые формы!

Нужно—знаете что? Чтобы у каждого рабочего была шкатулка,—несгораемая, и в жилетном кармане ключ от шкатулки, — ключик этот заветный чтобы берег и хранил каждый рабочий, как зеницу ока. В шкатулке чтобы лежали акции, а акции чтобы котировались на бирже. Чтобы рабочий чувствовал себя собственником, чтобы рабочий чувствовал и сознавал, что он что-то *имеет*. Что именно, сколько именно? Неизвестно, неопределенно. В неопределенности этой заманчивость есть...

Нужно, чтобы рабочий, работая, играл, — играл на бирже. Чтобы,—поймите,—самая работа была игрой на бирже...

Все это клонится к депролетаризации пролетариата... Они формулируют свою задачу так: te make the

workman a professional man, т.-е. буквально: сделать рабочего лицом свободной профессии. Создать новый тип рабочего, у которого была бы душа дантиста, инженера,—цензового «интеллигента», тесными экономическими узами связанного с буржуазией.

Параллельно этому перерождению психики идет—исподволь организационное переустройство,—в сущности, то же перерождение, коренное, глубокое, основное—профсоюзов. Задача тут заключается в том, чтобы, сохранив в полной неприкосновенности организационный *аппарат профсоюзов, мощь и влияние профсоюзов*, превратить мало-по-малу, эволюционным путем,—превратить профсоюзы из классовых рабочих организаций *в не-классовые и не-рабочие предпринимательские* организации, в которых два эти элемента—элемент приятности и элемент лотерейности игры—преобладали бы над всем прочим... Вы понимаете, конечно, что тут должна неукоснительно соблюдаться тончайшая, изящнейшая параллельность: перерождение психики пролетария должно строго соответствовать перерождению организационной ткани профсоюза—и vice versa. Новая организация для нового человека—и vice versa. Новый профсоюз, который уже не есть профсоюз, для нового рабочего, который уже не есть рабочий. Предпринимательская корпорация вместо профсоюза,—для дантиста вместо рабочего... Перерождение идет параллельно по двум линиям—и тут надо неукоснительно следить, чтобы не было опережения,—чтобы не забежать вперед по одной линии и не отстать по другой...

Это уже началось—перерождение по двум линиям. План намечен, работа уже идет—умеренно-быстрым, ровным темпом. И кое-какие результаты—очень еще незначительные по сравнению с общим планом, но очень, очень значительные сами по себе,—кое-какие результаты уже есть... Позвольте мне привести несколько цитат из умеренно-либерального, интеллигентского, типично-дантистского журнала «The Nation».

«Профсоюз железнодорожных машинистов уже почти *целиком погрузился в финансовую спекуляцию*, так что в настоящее время его интересы почти целиком совпадают с интересами крупных железнодорожных компаний. Подобных примеров можно привести много».

Вот! Что и требовалось доказать... Даже «The Nation» видит, понимает и делает вид, что беспокоится. А в глубине души он, конечно, радуется.

Дальше:

«Все профсоюзы открывают, кроме банков, рабочие университеты и техникумы, а главным образом высшие технические школы. В этих школах студенты окончательно отрываются от своего класса. Они учатся мастерству, они становятся «капитанами индустрии», их заинтересовывают в той или иной отрасли промышленности... Эти высшие учебные заведения—в большинстве своем узко-технические, содержатся профсоюзами совместно с союзами предпринимателей».

И дальше—через несколько строк—тот же «The Nation»:

«В конце концов американские профсоюзы приобретают *специфически-технический* характер,—их *интересует* не экономическое благосостояние рабочего, а экономическое благосостояние промышленности».

И еще:

«Профсоюз железнодорожных машинистов совершенно отходит от рабочего движения и идет по пути *профсоюзного капитализма* (обратите сугубое внимание на этот новый термин. *А. Р.*), а это ведет к созданию совершенно новой рабочей психологии».

Профсоюзный бюрократ, оставаясь профсоюзным бюрократом, становится одновременно директором банка. Но тут—не только личная уния. Профсоюз и банк сливаются, профсоюз вырождается в банк. И рабочий—рядовой рабочий, Henri Dubb — человек вообще неустойчивый, — легко заражается банкизмом.

Но это все—детали, отдельные черточки: банк, школа, акции, заинтересованность в индустрии. Тут—сложнейшая механика, и отдельных таких маленьких черточек очень, очень много,—всех не перечислишь.

Опасность тут, несомненно, есть. Мы в Германии чувствуем совершенно явственно, как это переливается к нам из Америки. Нас вообще американизуют всячески и очень усиленно. Американизуют по плану Дауэса, и по Локарно, и так, и этак. И вот, вместе с Дауэсом и с Локарно пришло из Америки и это... Я беседовал с людьми, с немцами, которые встречали в Америке наших делегатов, лейпартовцев, приехавших на конвенцию Американской Федерации Труда. Да, это идет к нам из Америки... Недаром наши лейпартовцы, *как только вы заговорите с ними о профсоюзном* единстве и о русско-английском комитете, сейчас же неизменно сводят разговор на Америку. Да, тут—вполне реальная и очень серьезная опасность...

Выводы?.. Но мне кажется, что самый факт для вас гораздо важнее и гораздо интереснее, чем мои суб'ективные выводы... Я лично жду взрыва. Американская Федерация Труда должна быть и будет взорвана. Это будет феерическое зрелище... Но когда еще будет взрыв,—вот вопрос? А пока...

ТЕАТР

О постановке „Петербурга" А. Белого в МХАТ 2

МИХ. ЧЕХОВ

В наши дни говорят о проблеме театра.

Говорят: театр должен быть «современным».

Но, увы, «современность» в устах говорящих есть лишь отраженье их личных желаний, понятий и точек зрения.

«Современных театров» в умах равно столько, сколько людей, осененных мыслями о «современности».

Однако, все требования, направляемые к театру, сходны в одном: хотят они перемены репертуара. В этом их сходство. Тут—единство.

Какого же репертуара хотят они?

И снова—увы! Каждый требует: сценической иллюстрации его собственных мыслей о «современности».

Отсюда такое количество новых пьес, новых авторов.

Что же делать театру?

Искать самому «точку зрения» на современность. И в этом у него есть преимущество перед теоретиками театра: он не теоретик, он—*практик*, он знает себя изнутри. И, говоря себе: театр должен стать современным, он делает ударение на слове: *театр*.

Из современности к нему идет требование: *ответить на запросы расширенного сознания*.

Современность — это разрыв уз сознания. Потеряны прежние точки опоры для суждений о жизни. Много убито предвзятостей, привычек суждения, авторитетных традиций. Без взрывов в сознании невозможно найтись в современности. (Но ошибка: и быстрое слишком суждение, ищущее покоя мышления и остановки его в лже-узнании).

Итак: сознание *ищет*. Оно задает вопрос, много вопросов. Зрительный зал стал не «зрительный», а «вопросительный».

О чем же он спрашивает? Чего ищет?

Он ищет основ, глубочайших основ, лежащих за жизнью, за фактами жизни, нужных ему для построения новых мыслей, новых опор для практической жизни.

Он ищет в театре не фактов, не фабулы только. Он ищет за фактами основных, общих сил, создающих все факты. Не внешнего обобщения фактов ищет он, не гротеска, не шаржа, не схемы, не конструкции—для нашего времени все это суть «обобщенные очевидности», и ответов они не дают. Ответ лежит в *живых* силах—причинах, скрытых за фактами. Их должен театр открывать и без тенденции являть перед зрителем. Тут возникает вопрос репертуара. Тут становится ясным: современный театр больше не терпит узких тем, «личных» психологических событий, частных случаев из жизни незначительных героев, не терпит натурализма, приковывающего сознание к частностям быта, не терпит болезней и *глупого* смеха, злобы и «неприличных приятностей». И выводит из этого нас: *трагедия*. В ней—глубина обобщений, силы, превосходящие личное, в ней здоровье и способность ответить на массы вопросов чем-то *единым*,—и *комедия*. Элементы в ней те же почти.

Но репертуар лишь одна сторона. Есть другая. Есть тот, кто несет репертуар, кто его воплощает: *актер*.

Актер—это большая проблема и трудная.

Актер говорит: у меня есть emploi, за пределы которого я не могу выходить, я им ограничен.

Но что такое emploi? Тот об'ем содержанья душевного, который доступен усвоенью актера в такой мере, что он, как актер, получает желание, усвоив его—снова выявить в форме искусства. Emploi есть вместимость актерской души. *Глубина* его чувства, мысли и воли.

Чем меньше вместимость актерской души, тем у́же его emploi. И понятно: чем беднее сознанье, тем больше *разделенностей* видит оно, тем меньше способно оно к обобщеньям, тем больше непреходимых преград выростает для мысли, чувств, воли и между фактами жизни. И конечно «комик» не может сыграть «драмы», если в душе его нет той точки сознанья, где комедия видится драмой, а драма—комедией. И не сможет он перейти (как актер) от комедии к драме по прямой линии, с той же неизмененной душевной глубиной. Здесь он чувствует то, что называет «границей своего emploi».

(Я здесь не имею в виду границ, которые ставят актеру его *внешние* данные. Я говорю только о внутренних силах его. Впрочем и внешние данные становятся странно-подвижными, если развиты силы *актерского сознанья*).

О расширеньи сознания я говорю, имея в виду лишь *актера*. Пусть актер в *способе* своих *узнаний* будет загадкой, проблемой психологов—это не важно для нас. Важно то, что актер познает жизнь (и роль) не так, как мыслитель или кто бы то ни было другой. Он познает *по актерски*. И при этом природа его такова, что она необходимо приводит к выявлению все то, что познано. Актер хочет *сыграть* свое знание. Не вдаваясь в разбор психологии актера, скажу только, что узнанье актера отлично от узнаний других тем, что познает он, актер, *всем существом* своим. (И отсюда желание *стать* тем, что познал, проявить, сыграть). Говоря о расширеньи сознания актера (а вместе с сознанием и его emploi), я говорил не о простом накоплении знания, а о *вживании* в них *всем существом «по актерски»*.

И такое вживание в роль на высшей ступени сознания есть право актера игра́ть трагедию (или комедию) так, чтобы новый зритель переживал театр, как *современный* в глубочайшем смысле этого слова.

И в постановке «Петербурга» в МХАТ 2—актеры учились расширять свое знание и играть в этой пьесе не образы только, не фабулу, быт, но играть те причины живые, которые лежат за пределами того или другого героя, но *общи* им всем, всех их в чем-то об'единяя и углубляя для зрителя смысл театрального зрелища. Пытались играть за гранью драмы и комедии. Это первая проба была, не совершенная, лишь попытка, но даже при этом намеке на новый метод игры, свидетельство зрительного зала во время спектакля весьма поучительно, ново и своеобразно. Смех зрителей (странный, особенный) слышался там, где он не мог бы быть, если б играли «по старому». Обостренность внимания—в местах, где по фабуле интерес понижается и т. д. и т. д. Зрительный зал «Петербурга»—есть особая тема, которой следовало бы посвятить отдельно и время и труд.

Много радостного для себя почерпаю я в зрительном зале во время спектакля. И сколько протестов и возмущенных суждений я слышал кругом и—да простят мне, я не хочу быть нескромным, но вижу: протесты идут от ума, не от *чувства искусства*. Трудно *умом* признать зарождение нового (правда, в неясных еще очертаниях).

Среди всех недостатков спектакля есть один наибольший: не четко вычерчен нами смысл и фабула пьесы. И в этом критики правы. Но это уже не относится к теме.

Заговор зрителя

Конст. Большаков

В довершение хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке цвета наваринского пламени с дымом»...

Чичиков был счастливый человек.

Посмотреть на самого себя, посмотреть так, чтобы видеть, пережить при этом целую серию собственных преображений и к тому же испытывать удовольствие, конечно, такое зрелище доступно не каждому.

Дело не только в «приятной легкости воображения». Воображать было и будет дано каждому, а вообразить...

У Чичикова был спасительный помощник в лице фрака цвета наваринского пламени с дымом. Зрителю требовательности более роскошной, конечно, этим не обойтись. Нужно что-то еще, какой-то более совершенный и убедительный вообразитель; мало одного внешнего преображения—нужен и весь антураж данного персонажа. От этого и актер на пространстве стольких столетий только «лицедей», только преображающийся в другого человек, а не искусник, создающий вещь из материала слова и собственного тела.

Человек на сцене, нарочито связанный сложными и действенными отношениями с другими, кусок жизни, слишком очевидно поданный, это еще не все. К этому дополнение: явственность, осязаемость зрителем ощущений этого персонажа.

Вот, кажется, именно здесь и начинаются разговоры о «зеркале души». Конечно, это значительно сложнее, но в данном случае нас интересует одно: не это ли та самая и единственная дорога, которая приводит театру зрителя.

Шекспир льстил современникам, придавая своим героям черты портретного сходства с придворными елизаветинского двора. Рашель «негодующей Федрой» взывала к той самой героической мужественности, которой не было ни в одном из ее зрителей и которую каждый из них считал только условиями момента в нем погашенной. Павел Иванович воображал себя последовательно и камергером и чиновником иностранной коллегии только потому, что весь комплекс ощущений, связанных с таковым положением, был, так сказать, заучен им наизусть заранее, дело оставалось за небольшим. И вот это небольшое препятствие преодолевает, правда, на срок недолгий... фрак. В результате—зрелище приятное, усладительное, зрелище, обогащающее зрителя новыми и богатыми эмоциями.

Если бы так просто было и теперь!

Современный романтик, тоскующий обыватель любого из больших и малых городов земного шара, не преображается в обольстительного Зорро, которым его два часа под ряд волновал и держал в оцепенении несравнимый Дуглас Фербенкс, не преображается также в том случае, если он облачился бы в его, Зорро, собственное, им ношенное платье.

А между тем с кем, как не с несравненным Фербенксом, сроднился, перепутал свои собственные и его, на экране, ощущения восхищенный зритель.

Немой Зорро (или Робин Гуд, или Багдадский вор, или кто еще) на экране убивал, любил, показывал чудеса акробатической ловкости и галантной находчивости, а его, наделенный даром слова, переставший ощущать себя зрителем зритель торопливо, захлебываясь, восполнял выпавшие из фильмы восклицания и междометия...

Я не случайно выбрал именно эту фильму. Не случаен и пример из кинематографа вообще. Но об этом потом. Сейчас о «Знаке Зорро» (или «Робин Гуде» или «Багд. воре»).

Вообще-то говоря, картина, как картина: столько-то тысяч метров и столько-то миллионов зрителей, просмотревших ее в городах обоих полушарий, как кричат рекламы.

Но... миллионы зрителей во много раз превосходят тысячи показываемых метров, но... зал, то замирающий от напряжения, то разражающийся не произнесенными на экране возгласами, не переживает, а буквально живет мелькающим действием. В чем дело?

Разумеется, не в сюжете, ибо он до такой степени прост, что его как-будто и нет вовсе. Просто перегруженный добродетелью герой борется с недобродетельными, как полагается, противниками, и если развязка и наступает, то причина ее достаточно ярко была продемонстрирована уже в самом начале.

А если не в сюжете, то в чем? В декоративном фоне, на котором развертывается действие? В монументальности самой постановки?

Ни в том ни в другом. Проще, гораздо проще. Все делает один человек. Несравнимый Дуга.

Унылому романтику современности никакой фрак камергера не сулит никакого преображения.

Кто сможет обольститься наивностью века, тащившегося на тройке?

Любой ребенок знает. Ощущения меняются не с положением, а от окружения. Душевный и бытовой обиход любого, носящего пиджак и живущего на такой-то улице такого-то города, одинаково пресен, одинаково мало завиден, и не следует накладывать в его карманы никакого камергерского фрака.

Посмотрите теперь, что делает Фербенкс.

Фербенкс показывает себя. Но он сам-то, так легко уживающийся с любой обстановкой, с любыми условиями, везде и всегда неизменно царящий над окружающими, разве он не такой же человек, носящий пиджак и живущий на такой-то улице. Желаете так: Фербенкс будет горожанином, но горожанином опять отменным, опять особым, опять превосходящим всеми качествами любого партнера.

Фербенкс—человек. Не лицедей, преображающийся в другого, а человек, Дуглас Фербенкс, в любой из своих ролей остающийся Фербенксом, любого героя делающий Фербенксом, прежде всего Фербенксом.

А какой человек!

Ловкость, сила, храбрость, доведенная до предела выразительности мужественность...

Против такого-то обаяния устоять?!

И с затаенным дыханием взиравшая на него горожанка после, открывая об'ятья своему законному обладателю, может, на миг, на один сладкий миг с закрытыми глазами ощутить, что есть еще на свете мужчины, потому что она видела Дугласа.

Секрет очень простой. Все эти волнующие свойства героя, все эти доведенные до предела черты в потенции дано ощутить и любому обывателю. Но вот в жизни?

Когда же и кому выпадет на долю в жизни самому превратиться в такого Дугу?

Конечно, со времен Чичикова обслуживание обывателя по части предоставления ему возможности обозреть свою собственную персону усовершенствовалось невероятно. Зеркало, только при пылкости собственного воображения набрасывавшее смутные черты соответственного антуража, сменилось кино. Не нужно воображать антуража, рождающего столь завидные ощущения, он уже есть, он к вашим услугам, воображение можно приберечь для другого. В этом антураже скользит, живет, волнует человек, и этот антураж необычен, не тождествен с этой абсолютной пресной разницей ощущений людей разных классов и состояний, но одного и того же города.

В кинематографе смотрят прежде всего человека, а следовательно и себя, ибо ведь все, что видят, в потенции живет в каждом зрителе.

В кинематографе ведь не мертвый реквизит никогда не оживающего ящика сцен. Кинематограф сам в жизни. Никто не отравляет себе зрелища скептическим недоверием, что все это нарочито и для него только сделано.

Кинематограф снижает жизнь, а только в жизни может быть прелесть видеть самого себя.

Отсюда абсолютный неуспех на экране психологии, тошнотворная скука снятой крупным планом слезы, величиною с кулак.

В театр идут или увидеть незримую уже в зеркале собственную молодость или позаимствовать для личного обихода ощущения, которых не вычитаешь из книги, ибо ведь многое недоступное в рассказе делается доступным в показе. Но для этого опять-таки нужны какой-то ненадетый фрак Чичикова, выученное наизусть заранее мироощущение персонажа на сцене. Не всякому актеру удается проложить тропинку для такого созвучного понимания от себя к зрителю. Да и зрителю для того, чтобы попасть на эту тропинку, нужны усилия.

Другое дело кино. Там усилий не требуется.

Между окном сцены и окном экрана есть разница и разница огромная.

В первом вы видите только кусок жизни, во втором перед вами сама жизнь.

Экран—прорезь в стене, отделившей тусклую повседневную сторону ее от неповседневной и завидной.

В младенческом периоде своей жизни кино тоже давало только куски.

Но вот эти куски стали расширяться, в зрачок аппарата стала попадать чуть ли не вся и целиком жизнь.

Этот-то всеоб'емлющий зрачок и увел от театра зрителя...

Реквизит душевного обихода в драме *человека* не всем может быть одинаково понятен, не для всех одинаково убедителен.

Драма человека в обстановке житейского обихода, если не всем одинаково понятна, то во всяком случае для всех одинаково убедительна.

Отсюда приятная неожиданность встречи со знакомым пейзажем на экране, и в жизни наделявшим какими-то ощущениями. Отсюда убедительность жеста в обстановке, по вере зрителя не воспроизводимой, но раз и реально существовавшей.

В кино убеждает вещь. Жизнь человека становится убедительной от окружающих его вещей. В театре для того, чтобы сделать вещь убедительной, нужно ее оживить, а для этого требуется живая сила человеческого воображения.

Вещь оживляет человек.

Мы, современники и поклонники Фербэнкса, преданные ему за его каждофильмный показ человека, мы еще знаем обаяние этой человечности и со сцены. Теперь, когда актер не чарователь, когда фамилии артиста не подменяют именем созданного им образа, когда от зрелища требуется гораздо больше, чем виденья одной пьесы и только,—есть все-таки один актер, именем которого называют виденную пьесу. Я говорю о М. А. Чехове. Чехов—Хлестаков, Чехов—Гамлет, Чехов—Аблеухов,—и все это Чехов. Зрелище, вещь, вещи расцветают и живут в сознании только потому, что среди них человек живой, такой же неврастенник, как и тысячи смотрящих на него, человек, перенесший на сцену с каждым зрителем от рождения сроднившиеся ощущения.

И так вещь оживляется только человеком.

А если человек неживой? Если схема, психологический футляр, в который втиснут человек на сцене, неверна само по себе? Что тогда?

В ощущении этой опасности театр сдал перед уверенным конкурентом.

На сцену многоводным потоком полились revue, обозрения.

Посмотрите у нас:

«Заговор императрицы», «Гапон», «Азеф», «1881 год», «1825 год», словом чуть ли не все даты политической истории прошлого века. Что это такое, как не историческое обозрение, оперирующее реквизитом укоренившихся представлений и образов.

А «Кукироль» полит-revue Камерного? А драмшаржи театра Сатиры?

Театр идет по линии наименьшего сопротивления Вместо оживления человеком вещей, вместо перестающего по этим оживленным вещам действия, вместо всей сложной машины, создающей зрелище, драмы—непосредственное воздействие на зрителя забросом в его создание понятий, с которыми давно и раньше связаны совершенно определенные представления.

Воздействие не актером, не образом человека, им созданного, а простой демонстрацей вещей и людей по образам, давно и самим зрителем установленным.

Пример—неудачный «Кукироль», пример—удачный «Заговор императрицы».

Но конкуренция этим далеко еще не одолена.

Опять в полной мере встает вопрос об окружении, об убедительности антуража.

В этом кино непобедим.

Наступление должно идти по другому, по более уязвимому участку вражеского фронта. Театр должен душить его его же немотой.

Сюжет, настоящий сюжет, скелет, которым держится вся картина, немыслим на экране при абсолютном отсутствии надписей. А надпись тяжелит картину, надпись раздражает зрителя.

У театра есть голос. Слово—неот'емлемое его оружие.

Это, это нужно использовать.

Убедительность, текучая живучесть вещевого антуража в кино выдержит и бремя надписей, сюжет не оторвется. Но он никогда не сделается таким, чтобы сам, а не персонажами только штопором ввинчиваться в сознание зрителя.

В настоящий момент замечается определенное тяготение писателя к сцене. Вспомнили, что и драма—«разряд изящной литературы».

Писателю, приходящему к театру по улице, где не одна световая реклама кино режет полотнище ночи, нужно не забывать сурового предостережения.

Не драма человека в плане широкой исторической перспективы, что делает соблазн исторического обозрения, не «Пугачевщина»: этого театр не выдержит.

Не гарнировка людьми и трюками никого несмешащего текста, не «Кукироль»: это скучно.

Сюжет, сюжет прежде всего.

Пьесой, которая бы, как французская борьба, от начала до конца держала зрителя в непрерывном напряжении, можно побить конкуренцию «великого немого».

Мало угодить Чичикову—зрителю одним фраком, нужно еще заставить его пойти к зеркалу и полюбоваться им.

Замечательный изобразитель воображаемого Марсель Швоб в предисловии к «Dies imaginaires» писал:

«Следует не кропотливо изображать величайшего человека своего времени или писать характеристики самых знаменитых людей прошлого, а рассказывать с таким же тщанием единичные жизни людей, каковы бы они ни были: божественны, срединны или преступны».

Вот выкройка для фрака. Или если не выкройка, то во всяком случае весьма ценное для выкройки указание.

Послушайте, что пишут дети, стараясь пояснить свое увлечение кинематографом и предпочтение его перед книгой: «там все представляется в живности», «больше воодушевляет», «здесь все живое, все переживаешь, ты волнуешься, ты чувствуешь и даже в некоторых местах плачешь» и т. д. и т. д.

Правда, это взято из криминальной статистики («Зак. Кинематограф и детская преступность»), но ведь и Швоб предлагает не делать различий в выборке изображаемого.

Вот отсюда-то и нужно идти.

Да, несколько слов еще о заголовке этой статьи. Заговора, конечно, никакого нет. Это сильно преувеличено.

А если бы он был?

ЛИТЕРАТУРА



Сергей Есенин. *Рис. Нат. Альтмана.*

У могилы Есенина

— «*До свиданья*, друг мой, до свиданья.
Милый мой, ты у меня в груди...»
Разольют тебя по всей стране рыданья
Этой песни,—слушать приходи.
«До свиданья, друг мой, без руки и слова...»
Нет ни слова, ни руки,
Что напишет снова это слово,
Что подымет кулаки.
— «В этой жизни—умереть не ново,
Но и жить, конечно, не новей...»
Ты, *убийца,—не виновен*,
Плакать нечего вдове.
Плакать нечего, товарищ,
Нам с тобою не дано:
Все равно ведь разгитаришь
Слезы в звонкое зерно.
Плакать нечего, что песня
Стала свихнута с плеча.
Ветер-плакальщик присвистнет,
Каблуком тебя топча.
Сядет белою невестой.
Над могилою мятель
Десять строчек из «Известий»
Зачитает грамотей.
И, пока лежишь в гробу ты—
Босиком, как ты хотел,
Мы—одеты и обуты
И, отужинав,—в постель.
И пока за каплей каплю
Звезды с неба сронит мир,
Шапок выхухоль, кара-куль
Будет в воздухе немым.

Дм. Петровский.

Поэт

У могилы трудно выговариваются слова. Несказуемо переживание смерти: оно слишком огромно. Мы, живущие, выхватываем частности, мелочи жизни— своей и чужой. Пред лицом смерти отпадают частности: встает *жизнь человека*, как целое. Жизнь *этого* человека. Кто он *был*? Нет, кто он *есть*, кем *будет*? Его жизнь в *себе* кончилась; начинается его жизнь в *нас*. В нас он рождается. Подслушать это рождение—вот глубинное устремление души.

Простое, но многооб'емлющее слово: Есенин был *поэт*. Среди множества гастрономов, жонглеров и барабанщиков стиха он был поэт интимный, вдохновенный, безыскусственный. Простой той великой простотою сердца, которая есть мудрость сердца: любовь.

Любовь. В приложении к поэзии Есенина не страшно приподнять это огромное слово. Лучащаяся из его стихов любовь—не абстрактно-надменная любовь к человечеству, к «дальнему» через голову «ближнего», это конкретная, простая и скромная любовь именно к ближнему, к близкому, к любимой женщине, к матери, к белой липе, к собаке, к земле. Как *близко* становится нам то, о чем говорит Есенин, как далеко остается то, что живописуют подчас иные. Из «ста пятидесяти миллионов» Маяковского Есенин выбрал бы одного; но в нем открыл бы, заставил бы нас полюбить— нашего «близкого», не арифметическую единицу. Высокая *человечность*—ее нес в себе Есенин, как естественный, ему самому неведомый природный дар.

Не с современными поэтами—с Пушкиным, с Полонским перекликается он здесь. Не отсюда ли та редкая простота и скромность его слова, чуждого вычур и прикрас,—даже в своих ошибках?

И дар, врученный тем двум, знал и он: дар «песенного слова»,—музыки, брызнувшей из любви. Его музыка—не завораживающая и томительная звуковая магия Блока, не беспредметная звучность Бальмонта. Это дар тех недостижимо простых, просветляющих жизнь мелодий, тайну которых унесли с собой Пушкин и Полонский.

> Разбуди меня завтра рано,
> О, моя терпеливая мать.
> . . . .
> Со снопом волос твоих овсяных
> Отоснилась мне ты навсегда.

Кто бы мог уронить такие звуки, кроме Есенина?

Это не значит, что по абсолютной величине дарования его можно было бы поставить наравне с Бальмонтом, тем более—с Блоком. Но *эти* звуки знал он; они— нет.

Но он знал и другое—то, что знал Кольцов: «быть поэтом значит петь раздолье». Знал кольцовскую неукротимость вольнолюбивого духа.

В наши деловые дни, когда быть знаменитым поэтом значит класть резолюции в углу бумаг, вести дипломатические переговоры и писать стихотворные рекламы—Есенин захотел остаться поэтом, *только* поэтом. Среди автоматизма нашей жизни он прошел, по слову Пушкина:

Как беззаконная комета
В кругу расчисленных светил.

Дипломатии и Моссельпрому он предпочел разгул, кабак, смерть.

В этом его слабость? Пусть. Но в этой слабости его великая озаряющая сила. Он был искатель *правды*.

И еще одно, последнее. Есенин был *русский* поэт, поэт России. Это не следует понимать в духе прямолинейного национализма. Грани культур ломают грани национальностей. «Путешествие на Гарц» и «Северное море» еврея Гейне запечатлены неизгладимой печатью германского гения, поляк Джозеф Конрад—типичный в своем своеобразии англо-французский писатель. Не в том сила, что Есенин пришел из Рязанской губернии, а в том, что воистину всякий скажет, пробежав любое его стихотворение: «здесь русский дух, здесь Русью пахнет»,—той Русью, которую потеряли мы, заблудившись между деревней и городом, Русью Пушкина, Кольцова, Полонского и—Есенина.

Из русской песни, русской сказки, русского орнамента брызнул чистейший ключ его поэзии,—влагой живой поит нас она. Ранняя книга Есенина «Ключи Марии»—выпавшая строка из «Книги Голубиной»,—не озарены ли в ней незапамятные глухие глубины мифотворческого сознания русской старины? Из глубин тех вышел Есенин и прошел мимо нас: в будущее. Но «песенное слово» живо у нас в сердцах. И каждый из нас, знавших и любивших Сергея Есенина, из глубины души обратит к нему незабываемые слова его предсмертного стихотворения:

До свиданья, друг мой, до свиданья,
Милый мой, ты у меня в груди:
Предназначенное расставанье
Обещает встречу впереди.

Да, расставанье наше обещает встречу: в мире еще нерожденной русской культуры грядущего.

Стрелец.

Без пафоса—без формы

ЯК. БРАУН

I.

Сейчас с самых разных концов и полюсов сходятся в убеждении, что сегодняшний писатель—натура текучая, расплывчатая, жидкостная, бесхребетная, нечто вроде «человека без судьбы», Шагиняновского («Своя Судьба») приват-доцента Ястребцова, пропускающего сквозь себя токи чужих волений и импульсов, но самого по себе лишенного желаний и воли. Какая-то тушовка с переходами идет от писателя к писателю, с необычайной легкостью аккумулятора художник заряжается другим художником, без сожаления, с каким-то даже легкомысленным жаром и самопрезирающей яростью бросает насиженную манеру письма, меняет «стили», как бумажные воротнички, потрафляет на все и на всех, и, лишенный своего упора, рабски заглядывает в лицо читателя, пытаясь прочесть в нем потребный, ходкий «жанр» и «вкус».

Из Белого текут Пильняк, Леонов, Эренбург, Огнев; из Пильняка растекаются—Лидин, Малышкин, Буданцев и даже Ник. Никитин... Впрочем, Пильняк течет еще из Ремизова, Блока, Арцыбашева, Шпенглера; Леонов выделывается еще из Достоевского, Замятина, Лескова, Ремизова, Гофмана; Эренбург—из Диккенса, унанимистов, французского бульварного романа, из газетных фельетонов; Лидин протекает еще из Гамсуна, Зайцева, из библейских мотивов, из Киплинга, и т. д. и т. д. до бесконечности...

Идет какая-то лихорадочная проба себя на всех и всех на себе, безвольное взаимное просачивание, эндосмос и экзосмос, бесхарактерная взаимная подражательность, после первой же (часто интереснейшей и многообещающей, как у Эренбурга, Н. Никитина, Леонова) пробы *себя* и *своего*—писатель точно немедленно же себе надоедает и, не веруя более в это свое, да, пожалуй, и ни во что, рвется исступленно из себя, из своей манеры и формы, как из смирительной рубашки или кандалов.

Когда исчезает (или долго не появляется) стиль, этот кристалл недробимой художественной личности и четкой социальной культуры,—тогда-то и начинаются бесконечные стилизации, безликое и безлюбое метание, кочевье по чужим стилям. Наша литература и наш литератор очутились без стержня, и эксцентрическими фокусами, ухищрениями и трюками мастерства стараются скрыть то, чего нет, и к чему прониклись даже напускным (и тем более азартным, чем оно более напускное) презрением: скрыть *отсутствие нутряного творчества*.

Странники-стилизаторы (их почему-то называют «стилистами») орудуют пустой незаполненной формой. Глыбы нового быта, лава сшибающихся мировых коллизий, вихри неоплотневших мировоззрений, родовые муки беременной нашей планеты—все это стало безразличным «материалом», какой-то колбасной начинкой для «оформления». Так называемое «содержание» ныне называется именно так, как колбасная начинка или солома для матрацев: «наполнением».

Над самым «оформлением» царит злополучный закон, выведенный когда-то Львом Шестовым в его «Апофеозе беспочвенности»: «из всего, что угодно, может выйти все, что угодно». Конечно, при одном только ограничительном условии: было бы это «все, что угодно», *разительным*.

Разительность — таков рок наших стилизаторов. Самая наблюдательность, эта поверхностная «зоркость», которая как-будто с успехом исполняет ныне в литературе обязанности ума, принесена в жертву разительности: любое писательское наблюдение, меткий намек на новый характер, сквозящее обобщение современности немедленно же—в следующем абзаце—высмеивается и опровергается разительности ради. И писатель еще удивляется тому, что читатель остается бесчувственным, как примерзшая колода!

Полная атрофия эмоций, выщелачивание всякого аффекта, бесчувственность стеклянной реторты—ведь это же аксиоматически-неизбежное читательское противодействие действию современного художественного мастерства.

О, конечно, «глас народа» далеко не всегда «глас божий» и даже не обязательно должен быть гласом правды, а, тем менее, критерием художественности. Но ведь не случайно же «маленькие эмоции» Ахматовских «Четок» выдержали десяток изданий и спокойно выдержат еще десять (если не 110), не случайно, по признанию Тынянова, «читатель относится к стихам Есенина, как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина». И когда читателю подвернутся

на глаза диковинные инкрустации великолепных асеевских ассонансов и аллитераций, ну, хоть таких—

«*Когда земное склонит лень,*
Выходит стенью тени лань,
С ветвей скользит, белея, лунь,
Волну сердито взроет линь»... и т. д.
(«Избрань», 128)

—и тут же подбегут первые попавшиеся есенинские *озорные строчки*—

«Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу—
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит»
(«Москва кабацкая», «Стихи», 33),

читатель, сломя голову, летит на задушевно-звериную есенинскую исповедь, ибо чувствует в них мужицкого Глана, чудом занесенного в Рязанскую губернию, *в 1925-й год, а оттуда, из Рязанской,—в цилиндр* в озорном изломе задирчивых этих строчек прочерчивается неподдельный, всамделишный водомет сверкающего жизнеощущения, хулиганский гик и усталая, палая грусть, степной примитив и глубинная, себя не понимающая сложность, стремительный каскад эмоций; что вдруг донесет звериного приятеля в мертвую—это после похмелья, и такого похмелья!—мертвую муть увядания:

«Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым—
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым»
(«*Стихи*», 5).

А о стихах Асеева тот же читатель скажет (если только скажет): н-да, техника чудовищная... Ни дать, ни взять—соловей, жалко лишь, что «стальной соловей»...

Правота и правда на этот раз, думаю, останется за читателем, благо и сам автор (а кому же лучше, чем автору, знать свои цели и намерения!) ставит над этим циклом своих работ заголовок: «Техника стиха» (см. «Избрань», 111). Словом, автор достигает своей цели: читатель видит в нем как раз того, кем предстать ему хочется: изощреннейшего техника. Впрочем, от этого положение талантливого поэта (Асеева) отнюдь не ста*новится лучше Пиррова: иные победы во сто крат хуже* поражений, а иные (пускай самые восторженные) признания делаются как раз для того, чтоб равнодушно констатировать факт и... пройти мимо. И нужно только радоваться, ежели читатель, снедаемый эмоциональным голодом, жаждущий организации и кульминации своих жизнечувствований, бросается в кипяток есенинских или в прорубь ахматовских лирических откровений. Ведь он мог бы, не забудьте, броситься с железных вавилонских башен скептически-безчувственных сло*весных конструкций—ринуться в новые вербицкие или* тарзанные болота.

И как еще, как еще бросается! От заостренной техники, от выхолощенной зауми, от стилизаторских курбэтов и мертвых петель «условности ради условности» и «приема ради приема»—небось—по-ле-тишь!

2.

Однако дело не только в омертвлении, обескровлении чувственной ткани поэтических произведений современности. Не меньшим, если не бо́льшим их пороком является оскудение, нищая элементарность *характеров героев, отсутствие свежего человеческого* образа, неуменье возвыситься до типа, подняться до сколько-нибудь сложного, интегрального обобщения новейшей человеческой породы.

Писатель современности поступает, как ребенок, закрывающий глаза и воображающий, что после этой немудрой операции его никто не увидит: не умея вскрыть столкновения эмоциональных, волевых и интеллектуальных токов, ежесекундно заряжаемых и разряжаемых в противоречивой и многоречивой психике героя трудного нашего времени, писатель делает вид, будто этой сложности вовсе не существует, будто самая динамика и диалектика нашего внутреннего мира—выдумка размагниченных неврастеников или поросших мохом идеалистов прошлого века.

Писатель предпочитает укрыться от психических *лабиринтов в поверхностную живопись*, в подчеркнутое внешнее движение, в убогую, но нарочито «остраненную» (для симуляции сложного рисунка) гамму физиологических рефлексов, куцая амплитуда которых колеблется между животной похотью, звериной жестокостью и физическим голодом,—словом вместо виртуоза, владеющего беспредельными модуляциями скрипки Паганини, вместо психолога, заставляющего тончайше вибрировать целокупность человеческого «я» (каким был, напр., Достоевский), появился виртуоз, *играющий на слюнной, поджелудочной и предстательной железах*, да, пожалуй, еще на нервах спинного мозга.

Недостаток глубокого психологического анализа, яркого и самостоятельного *типа* прикрывается тремя приемами: 1) либо тем, что примитивный (а иногда и просто манекенный) характер ставится в максимально сложное положение—прием «*авантюрный*», 2) либо же человек дан раскрашенным, внешне изузоренным, загроможденным вещами, тонущим в быту—прием «*живописный*» *или* «*орнаментальный*», *3) либо, наконец*, человек перенесен в звук, в интонацию, в словесную игру, в излюбленное словечко, в гамму характерных восклицаний и приговариваний, в собственную, ему одному присущую речевую частицу, а самый образ сцепляется взаимным притяжением этих «личных» или фольклорных частиц,—прием «*сказовый*».

Первый из приемов—нанизывания человеческих голов, как пустых стекляшек-бус, на нитку самоцельного действия, авантюры, как бы извне навязанной,— сейчас излюблен как будто и читателем, и—ему под вкус—писателем. Он же изо всех сил культивируется и нашей критикой, причем некоторые так называемые «критики-социологи» трогательно сходятся здесь с критиками-формалистами, с тою только разницей (если это, в самом деле, «разница»), что первые заботятся о насаждении «коммунистического Пинкертона», а вто*рые—Пинкертона всяческого.*

«Формалисты», воображающие, так сказать, «из принципа» (принципа асоциальности и аисторичности искусства), будто они здесь руководятся исключительно художнической целью—насаждения «сюжетности», в действительности, являются в этой своей яростной пропаганде «авантюрности» лишь слепыми орудиями упадочных социальных вкусов, того самого «закона компенсации или замещения», о котором говорит акад. Бехтерев в своей «Коллективной рефлексологии»:

«всякое движение или какая-либо другая форма энергии, встречая то или другое препятствие для своего проявления, замещается другими движениями или другими формами энергии, представляющими, в сущности, тоже род движения»
(«Кол. рефлексология», 380)—

(словом, читатель изживает в пулеметном сюжетном движении недостаток движения иного рода)—

—закона, который, быть может, менее научно, но зато куда более выразительно сформулировал три четверти века назад Аполлон Григорьев, говоря о литературе и читательских вкусах непосредственно после снижения Великой Французской Революции:

«Сказка, интрига, чудесное и таинственное должны были на время занять человеческий ум именно потому, что крайние грани революционного мышления и созерцания были крайними гранями его собственного истощения» («Ап. Григорьев», *Письма, Птгр., 1917, стр. 79*).

В применении к нашей современности эти предпосылки развития авантюрности сводятся: а) к американиза*ции нашего быта и бульваризации вкуса и б) к победно* утверждающемуся на чугунных твердынях моноидеизма мещанскому ничевочеству. Яростно пропагандируя

сюжетность ради сюжетности, формалисты, таким образом, отнюдь не ушли от столь ими ненавидимой «учительности», стали достойными «учителями» своего писателя и читателя. Правда, это учительность особого рода, но ведь и то сказать: литература учит не только тогда, когда проповедует «хождение в народ» или призывает сеять «разумное, доброе, вечное», но и тогда, когда учит презрению к обществу, гениальному разбою, кобылиной любви, самоубийствам. Вспомним, сколько «гамлетизирующих поросят» «гамлетов Щигровского уезда» развелось после шекспировского Гамлета, сколько «разбойников», «лариков», «корсариков» и «почти-ринальдо-ринальдини» повелось из подражания героям Шиллера, Байрона и др. ; сколько «санинцев» и «огарочников» вылупилось из романов Скитальца и Арцыбашева; сколько, наконец, самоубийств вызвал гетевский «Вертер» (мадам де-Сталь уверяла, что ни одна, даже самая красивая женщина в мире не вызвала больше самоубийств, чем появление «Вертера»).

Именно миссию «учительности» этого особого рода несет на своем рыжем знамени авантюрная литература. Примечательнее всего то, что «авантюрные» формы и приемы оказались, не могли не оказаться самыми портативными, нисколько не затрудненными и, следовательно, самыми пустыми формами в недрах самого искусства. Авантюрных романов и авторов сейчас развелось, как мокриц в Конотопской гостиннице, и, главное, любой «журнал приключений на суше, на море и в воздухе» без труда переплевывает своими головоломными трюками и кунстштюками все авантюрные романы и всех «авантюрных» романистов, вместе взятых. Любой бульварный писака проливает океаны клюквенного сока, живописует похищения, таинственные снаряды и порошки, мигом убивающие всех земных и небесных тварей не хуже, чем это проделывает Эренбург в романе «Трест Д. Е.» А воз и ныне там: ни романа, ни романистов.

Немногим глубже, хотя и правдивее, и наблюдательнее, видят «человека» наши «бытовики», «нео-натуралисты», «имажинисты» и «орнаменталисты». Отвергая большую психологическую правду во имя малой правды физиологической (чтоб не сказать: зоологической), отвергая динамику и диалектику внутреннего мира во имя красочных пятен мира внешнего, подчиняя человека вещи, «машинности» и «домашности», избяному или индустриальному быту, они обратились либо в фотографов-моменталистов, талантливых анекдотистов, потерявших всякую меру случайного и типичного, главного и второстепенного, либо же в хитрых конструкторов, выдумывающих, построяющих человеческий характер, как машину, собранную из самых диковинных и разнообразных частей, причем хитрые наши механики-образотворцы заботятся не о том, чтобы человеческая машина эта впрямь давала хоть иллюзию цельности, целесообразности, работоспособности, но больше о том, чтобы она выглядела «железно» и разительно. К числу первых относятся: Вс. Иванов, Н. Никитин, Пильняк, Бабель, Вяч. Шишков, отчасти Леонов, Сейфуллина и др. К числу вторых—«конструктивисты», пресловутый «Леф», многие так называемые рабочие поэты и художники.

Первые создали целую галлерею (или зверинец) предельно-упрощенных (хоть подчас и выразительных и мастерски сработанных) двуногих млекопитающихся, односложных и ражих, как «характеры» волка, медведя и лисы в народной сказке, набили руку в фабрикации звериных, каменных и растительных человекоподобий, наштамповали бравых коммунистов (непременно кожано- или железнодушных, обязательно чекистов с «мандатной начинкой» и кровопусканием для пущего эффекта—так оно и у Вс. Иванова, и у Пильняка, и у Сейфуллиной, и у Никитина и т. д.), наработали целый паноптикум эсеров (непременно кислятину, слюнтяев, узкогрудых и пискливых, двоедушных и расслабленных) лубочных анархистов (à la «чорт меня побери») и белогвардейцев (с двумя дюжинами голых шансонеток на коленях, с моноклем в глазу, нагайкой в руке, картавых и сюсюкающих) и т. д.

Самое катастрофическую ломку бытия они обратили в стылый, закаменевший быт, вихрь разрушенных и поломанных вещей—в новый декоративный штамп (непременно печка-буржуйка, продкарточки, непременно ручные тележки, тачанки, обязательно метели, волчьи, барсучьи и медвежьи вои, обязательно изнасилованные бабы, человечьи экскременты, и все прочее в таком же развесисто-клюквенном роде). Не потому ли 99% всех выброшенных на книжный рынок талантливых и бездарных послереволюционных рассказов, повестей и анекдотов посвящены исключительно военно-коммунистическому трехлетию (1918—20), когда плюшкинская куча развороченного быта предстала в наибольшей простоте ублюдка, когда скелет безкожего и безиндивидуального, озверевшего от голода человека выпирал ребрами тощей воблы, а картина психики и нравов раскрывалась в любой очереди в уборную. Соблазнительно-убогая простота, соблазнительно-четкий примитив! Разве не характерно, что как раз *наиболее сложные, переходные*, неокристаллизовавшиеся в штампы годы нашего изумительного десятилетия—годы предреволюционные, первый год революции (1917-ый) перелом к нэпу (1921 г.) решительно игнорируются нашими наивными примитивистами-реалистами, а, ежели и зарисовываются, то бегом, не переводя духу.

Почитать наших прозаиков-имажинистов, наших бытовиков, и внешний, вещный мир предстанет мамонтообразной окаменелостью, и станешь фетишистом некоей «вещи в себе»; булки, кожанные куртки и сапоги дубами врастают в землю, а «копейки душ» (Леонов) предстанут их слепыми отростками, причем философская напряженность старого материалистического догматизма подменяется наивно-эмпирическим утверждением некоей «булки в себе» или «редьки в себе», этакой чугунно-незыблемой, как закон тяготения, как таблица умножения, космической «редьки в себе»!

У Густава Мейринка один из «лунных братьев», граф дю-Шазаль, утверждает, говоря о современности, что «если бы женщины стали рождать велосипеды или револьверы, вы бы увидели, как сразу увеличилось бы количество браков» («Летучие мыши», 110). Желчные старые девы до этого способа, к их несчастью, еще не додумались, зато «конструктивисты», футуристы, «лефы» и «поэты рабочего удара» давным давно разрешаются от бремени не столько человеческими образами и характерами, сколько велосипедами и револьверами, и, представьте, если судить по количеству ими «организованных» человеческих моторов и двуногих револьверов, их производство ничем не уступает фабричному! Особенно хорошо это дело подвигается у Безыменского, Родова, Садофьева, Гастева, Маяковского (последних лет), Либединского, Ляшко (отчасти), Брика и др. Они, конечно, без труб, но ведь «без труб труднее», по авторитетному свидетельству специалиста этого производства (Маяковского). Впрочем, фабрикация этого треста все более упрощается экономным превращением человека в статистическую карточку, в металлическую болванку, и, наконец, что всего проще, в безликие коллективы: «миллионы», «множества», «тысячи», «толпы», «фаланги», «стальные ряды», и т. д. Тут уже от пресловутой «личности» остается цыфирь, некая единица со многими нулями. Жалко только, что ее не читают, благо, цыфирь все-таки выглядит многими нулями без единицы...

Неизмеримо, конечно, плодотворнее и богаче эволюция сказовой формы (Ремизов, Замятин, Зощенко, Леонов и др.), достигшей в наши дни предельной виртуозности и остроты. Но и здесь чрезвычайно важно отметить особое пристрастие наших «сказителей» к уездным кретинам, человеческим ископаемым, к новейшим формациям унтер-Пришибеевых (зощенковский Синебрюхов), Прутковых (леоновский Ковякин) и прочих потешно-примитивных «человечьих кусочков».

Да не вообразит читатель, будто я здесь становлюсь в позу моралиста или искателя сверхчеловека выпуска 1925 г. Конечно, если художнику видны только мастодонты и Пришибеевы, это дело его наблюдательности, мировидения, юмористической складки, вкуса, пристрастия. Но ведь не случайны же эти самые вкусы и пристрастия, нащупывающие героя сказа именно среди примитивнейших, а не сложнейших представителей человеческой породы. Не случайно, с другой стороны,

Достоевский решился вести *сказовый роман* («Подросток») от лица пламенного, ломкого, незаконнорожденного барича-разночинца-подростка Долгорукого, и в этом образе огромнейшей сложности сумел развернуть комические и вместе трагические метания углового жильца—окунувшуюся в высший свет его «мстительную жажду благообразия», бред мальчишеского наполеонизма и восторженного самопожертвования,— и все это с соблюдением тончайших психологических и речевых интонаций, изломов и перепрыгов, столь характерных для мальчика-юноши, для незаконнорожденного сына, для переходной эпохи. Не случайно Мериме вел свой потрясающий сказ («Локис»), от лица профессора, а Леонов—от лица «гогулевского» ублюдка!

Самое это пристрастие наших сказителей к «рылам», «харям» и рожам, при всем блеске их зарисовки, свидетельствует все о том же бегстве от сложных внутренних коллизий, от глубокой художественно-философской трактовки, от героического, патетического, обуянного новыми многотрудными исканиями, словом—от *человека во весь рост.*

3.

В Кощеевой цепи нашего литературного кризиса звено цепляется за звено, в любом и каждом—причина и следствие: кризис сюжета, темы, формы упирается в эмоциональное оскудение, кризис художественного восприятия—в примитивность, надуманность, безжизненность характеров, а все эти звенья, вместе взятые,—в распад художественной философемы, в идеологическое никудышничество современного писателя.

Вернейший признак подлинно-художественного произведения—в его способности вытеснить из читателя (по крайней мере на все время чтения) жизнь сущую и захватить своей собственной реальностью «мнимой», захватить так, чтобы эта «вторая жизнь»—жизнь Карениной, Мышкина, Безухова, сенатора Аблеухова («Петербург»), Атанасиуса, Перната («Голем»), мадам Бовари (Флобер), Сильвестра Бонара (Франс), Дориана Грея, Жана Кристофа (Роллан) и т. д.—стала *первой* и *единственной* нашей реальностью, а наша «действительность»—Ивана Иваныча Иванова, чиновника девятого разряда тарифной сетки, «вридзавхоза» Главгвоздя или Москожа—показалась бы вдруг и вовсе недействительной, несуществующей и несущественной.

Именно этого *воздуха художественной реальности*, *своей* (и ничьей больше) *атмосферы, своего лейт-мотива*, ощущаемого, как сердцебиение, как дыхание самого художника, оплодотворяющего читателя особливой творческой (пускай только отраженной!) радиоактивностью,—его то и не хватает современному роману, повести, новелле, стиху.

Определять точнее бесполезно, разложить, химически проанализировать понятие «атмосферы, воздуха художественного произведения» невозможно. Никакие формальные рас-пре-анализы тут не помогут: анатомы могут резать труды вдоль и поперек, отделять мышцу от мышцы, орган от органа, но им и не постигнуть тайну самого сердцебиения, тайну *организма*, как слитка жизни, как источника мышления и работы, а не мешка мяса и костей.

Художественное произведение лишь тогда становится собою, когда оно ощущается, как *организм*, как «мир в себе», когда оно выделяет свой (и только свой) кислород, свое движение, свой запах, свой сексуальный тонус, свой мир исканий, борьбы, исступления, радости, когда населяет оно землю своими героями, идеями, образами, страстями. Если бы мы могли постичь и математически точно формулировать тайну жизни этого иллюзорного организма, творчество стало бы ремеслом, а не искусством. Этот «воздух» струится в гамме эпизодических типов, мимолетных идей, вводных новелл, световых аккордов, диалогических интонаций, но, чтобы ощущаться, как «*мир*», он должен иметь явственный *источник* своего распространения, свой силовой идеологический и эмоциональный фокус, одним словом—свою *целенаправленность*. Эта то целенаправленность отличает восприятие художественного явления от восприятия фактов обыденности, беспорядочных, неорганизованных, центробежных. Отсутствие целенаправленности, или, что одно и то же, идеологически-художественного пафоса, ощущается нами, как бесцельность, как никчемушность того или иного «художественного» опуса.

Выдумка Виктора Шкловского, будто художник творит исключительно с целью пожонглировать теми или иными приемами письма ради самих приемов—не больше, чем досужий домысел остроумного шпагоглотателя, родившегося на свет божий единственно затем, чтобы огорашивать разительными фортелями.

Художник рождается вместе с *центральным, своим мыслечувством*, собственным ощущением «самого главного», и это «самое главное» становится световым фокусом его полотен, «живой точкой», «пунктом помешательства» его героев, тем, что ищет он в современности, в любвях, смертях, войнах и революциях. В эту свою мишень он целится «чемоданами» романов, гранатами тех или иных характеров, пулеметными лентами сюжетных ситуаций, стрелами образов, метафор и словечек, и *степенью ощутимости* (читателем) *этой мишени*, и *степенью верности прицела и попадания в это «самое главное»*, ощущаемое им, как «самое главное» своей эпохи, всей нашей планеты (сколь бы ничтожным это «главное» не представлялось критикам, социологам, писателям, читателям)—этим-то и определяется удача или неудача того или иного произведения искусства.

Свидетельство удачи: «самое главное» для художника оказывается (или *становится*) «самым главным» для тысяч миллионов, его бред—их бредом, его пафос, любовь, вера, жизнечувство становится пафосом, любовью, верой, жизнечувством миллионов, миллионы влюбляются в Пушкинскую Татьяну, миллионам матерей, жен, девушек и девочек хочется (пускай хоть на день, пока они читают «Онегина») стать Татьянами, миллионам мужей, отцов, любовников, братьев хочется переделать своих жен, дочерей, возлюбленных, сестер—в Татьян, непременно в Татьян, миллионам читателей Гете хочется (пусть только в течение мига, но не может не хотеться!) покончить самоубийством вместе с Вертером (я нарочито избираю совсем не «учительные», совсем не «разумные, добрые, вечные» порывы). Радиоволны, электротоки художественного творения вырываются из герметической укупорки романа и претворяют все и всех, ими захваченных, по образу и подобию своему.

Свидетельство неудачи: читатель оказывается в безвоздушном пространстве, ему душно,—и самые мастерские анекдоты, самые захватывающие коллизии и ситуации, как ложь, фальшь, картон, в лучшем случае, как румынский оркестр в кафе-шантане. Читатель сам по себе, писатель со своими писаниями—сам по себе, впечатляемость не глубже, чем в биоскопе: вращают ручку аппарата, мигает кинофильма—вертится и мигает колесо впечатлений; кончилось вращение—и—в мыслях у читателя—«свое»: «сегодня гололедица, у Верочки понос, а почем на рынке дрова»?

Такова именно судьба сегодняшних формотворцев. Они лишены героической воли к своему миру, они бессильны глубоко, в самое нутро современности, заложить свой взрывчатый патрон, да и есть ли у них этот патрон, да и знают ли они свою мишень или строят по методу—«а вот какой случай был в Тамбове»? Их мастерство никогда не становится творчеством, а, тем менее, *жизнетворчеством*. Оттого-то читатель им и их работам не верит, пафоса их не чувствует, нисколько их образами не заражается—лишь любопытно *глазеет* или равнодушно «*послушивает*».

Читая Достоевского, Толстого, Гете, Байрона, некоторые работы Горького, Белого и др. он почти физически ощущает, как их герои, идеи, самый воздух их полотен прорывают, проламывают раму произведения, вытесняют и переворачивают действительность, замещая ее собою, превращая самое жизнь в главу романа, в нечто *об'емлемое* романом, а не его об'емлющее. Ныне же сами художественные приемы, сюжеты, образы воспринимаются, как нарочитая, назойливая игра: разят белила, уголь, мертвые скелеты конструкций, парик и трюк, а игра, сознаваемая, как

игра, перестает быть собою, воспринимаясь лишь, как ложь и фальшь.

Нет «сердцевины», пафоса, своей преломляющей призмы: вместо них—наблюдательный пункт, навостренные уши, четыре пары очков и учебник ритмики или сюжетосложения.

Выражаясь в терминах Шеллинга, я сказал бы, что в писателе современности избыточно развита способность «созерцания» (пассивного восприятия), необычайно убога способность «влечения» (аффектации) и совершенно отсутствует своя «схема мира», дар «чистого мышления» (т.-е., самопознания и синтеза).

Оттого то, лишенные своего тембра и устойчивого идеологического цвета, писатели наши с изумительной «легкостью в мыслях» поддаются «мимикрии», омерячиваются, меняют любые «вехи»—революционные на мещанские, мещанские на революционные, «потрафляют» и «приспособляются к подлости», пишут на чей угодно заказ, служат сразу «России № 1», «России № 2» и прочим номерам, вплоть до «эн плюс первого», а Виктор Шкловский, торжественно указуя на В.В. Розанова восторженным перстом—мол «се—свободный художник, се—прием», упивается, как явлением, тем, что Розанов когда то сотрудничал разом и в «Русских Ведомостях» и черносотенном «Новом Времени» (см. книжку В. Шкловского «В. Розанов», Птгр., 1922 г.). Что и говорить, «стиль» преоригинальный, а ежели он зато и препахабный—что горя в том?—«лишь были б жолуди»... И, наконец, ведь это так «остро» и «разительно»! Только памятливому читателю неотвязно мерещится, что уж вовсе это не так оригинально, что уж было это, было, до точки, до родимчика схожее, и даже критика базировалась тогда на «правилах» и «приемах», а поэтический «пафос»—на «потрафлении» и хамелеонизации. А было это в XVII—XVIII в.в., во дни Людовика XIV, Елизаветы Петровны и Екатерины II, во дни, когда «формализм» Буало, риториков и схоластов приятно сочетался с торжеством псевдоклассической придворной поэзии, с «наградой перстеньком» иль «дружеством с князьком». Памятливый читатель мог бы даже на основании своих пренеприятных ассоциаций уверовать в теорию «вечного возвращения» Пифагора-Вико-Ницше»...

А писатель?

Писатель, пушисто-легкий в мыслях, отделается веселым антраша: «Я вам не Гаршин, глаза мои—не лампадки... Жизнь моя, как лживый дым летит. Летит»... (Н. Никитин).

Писатель же глубокий повторит мужественные, горькие слова Замятина (см. его превосходную статью «О сегодняшнем и о современном», «Р. Сов.» № 2, 263—272):

> «Правды—вот чего в первую голову не хватает сегодняшней литературе. Писатель—изолгался, слишком привык говорить с оглядкой и с опаской. Оттого в большинстве литература не выполняет сейчас даже самой примитивной, заданной ей историей, задачи: увидеть нашу удивительную, неповторимую эпоху, со всем, что в ней есть отвратительного и прекрасного, записать эту эпоху такой, какая она есть» (ib. 263).

Несомненно, в этом же беспредметничестве, ничевочестве лежит причина причин собачьей старости и жалкого вырождения современной драматургии. Здесь отсутствие всякого присутствия, «цинизм гибели» и пустоты достиг своего апогея уже по одному тому, что драматургия—искусство *по преимуществу патетическое, трибунное*,—все равно, вдохновляется ли оно пафосом отрицания, разрушения, осмеяния (комедия, гротеск, буффонада) или пафосом утверждения, героического экстаза (трагедия, драма).

Здесь, как нигде, становится убийственно-ясной даже для искреннего формалиста ничем не прикрытая истина: *быть без пафоса—значит очутиться без формы.*

БИБЛИОГРАФИЯ

Андрей Соболь. «Записки каторжанина». Изд. «Круг» М. 26.

Книга Андрея Соболя прежде всего подкупает искренностью много пережившего и передумавшего человека. Воссоздавая картину царской каторги, «колесухи», Зарентуя, она дает канву не одной человеческой трагедии; и вместе с тем по этой книге можно понять, где вспоилась страшная и взрывчатая сила революции. Но книга эта проникнута не черным озлоблением или безрадостной каторжной тоской. Она проникнута ощущением живой жизни, утверждением ее и высокою человечностью. Написанная просто и сдержанно, эта книга благородна не только по своей страдальческой теме, но и по авторской манере ее интерпретации. Кроме того, вся она увязана в живую полубеллетристическую форму, что удваивает к ней интерес.

Вл. Лидин. «Норд». Изд. Ленгиз. 25.

Эта книга составлена из рассказов и очерков, написанных автором под впечатлением русского Севера, Ледовитого океана. Оставаясь тем же мастером как в области слова и стиля, так и широкой романтики, Лидин нашел, кажется, здесь свою тему. Насыщенная образами, рисующая жизнь и первобытный труд людей, их звериную борьбу со стихией, книга эта не лишена лучших влияний западной литературы, особенно Гамсуна. Но преломленная под углом русской жизни, тематически связанная с современностью, она имеет тем самым свой собственный облик и собственную тему. Раскрываясь каждой книгой по новому, Лидин дает здесь простор своему романтическому, чрезвычайно сильному началу, жадно воспринимая мир и природу, возникающие перед его художническим взором во всем своем первобытном великолепии... Лучшие вещи этой книги: «Рыбаки», «Мыс Бык» и «Инга». Слабее те очерки, в которых наблюдения жизни вытеснены романтикой.

И. Калинников. «Мощи». Роман. Ч. I. Изд. «Круг». М. 26.

Имя Калинникова в нашей литературе новое. Правда, он печатался уже в горьковском журнале «Беседа». Признаться, вещи, напечатанные в «Беседе», мало обнаруживали творческое лицо автора. Но роман «Мощи» сразу по первой же части раскрывает творческое обличие Калинникова, безоговорочно ставя его в ряды современных прозаиков. Роман «Мощи» рисует прошлое монастырское житие со всем его юродством, лампадным маслицем, блудом, прикрытыми молитвой. Давая ряд четко и отлично сделанных фигур, воссоздавая облик этой богомольной, кликушествующей Руси, стоящей на монастыре, кабаке и самодержавии, Калинников превосходно завершает первый круг задуманной им монастырской эпопеи. У него прочный язык и хорошая изобразительность. Но у него есть—непростительные длинноты и ненужные срывы в эротику. Во всяком случае, дебют обещающий.

Д. Петровский. Арест. Изд. «Прибой» Л.

Партизан-революционер, поэт с очень нервной душевной организацией, Петровский рассказывает, как он был арестован белыми на Украине. Белые вели войну даже с арестованным—особую, изощренную войну «на нервах». Книжка представляет ценный вклад в нашу литературу гражданской войны.

Книга Руфь. Перевел с древне-еврейского **А. Эфрос.** Гравюры В. Фаворского. Изд. М. и С. Сабашниковых. М.

Перед нами перевод книги Руфь, этой простой прозрачной книги, изумительно сочетавшей в себе весь гений древне-еврейской прозы.

И прав переводчик, когда в своем послесловии он пишет об этой книге:

«Перед нами гениальная сказка, сказка среди сказок, вечно хранящая и вечно обновляющая в себе, как все сказки мира, неумирающую жизнь».

В Библии книга Руфь занимает особое место своей «величественной ровностью тона», своим «тишайшим бесстрастием».

Передать ее неспешные слова, всю прелесть этой идиллии, не омрачить в переводе ее образы ясного и простодушного спокойствия, сохранить все очертание ее прозрачности—задача для переводчика трудная и ответственная. Эта задача переводчиком выполнена, за малыми, очень несущественными погрешностями (в некоторых частях слишком длинны и утомительны эпитеты, прилагаемые к собственным именам) эта, по слову Гете, das lieblichste kleine Ganze, gass uns idyllischerhalten wurde» дана сейчас русскому читателю с сохранением всего аромата этих тысячелетних очаровательных страниц, от которых трудно оторваться и всю прелесть которых не могли убить и вытравить сотни веков.

М. Алексеев. Большевики. Изд. «Прибой» Л.

Эпизоды партизанской войны. Подполье при деникинцах. Герои—несколько большевиков, среди них—одна женщина. Сюжет—ходульно надуманный. Белогвардейские истязания, чудесные избавления «в последнюю минуту» и потом... во время митинга по случаю подавления белогвардейского мятежа—выстрел провокатора в спасителя маленького ребенка. Заключительная сцена—похороны, спасенный ребенок с венком у гроба. Все это сусально, сюсюкающе. Несмотря на правдоподобность сюжета и даже хроникерскую точность—ни грана художественной правды.

Александр Сытин. Мертвые всадники. Изд. «Земля и Фабрика» М.

В книжке несколько рассказов, описывающих гражданскую войну в Туркестане и Бухаре, войну с басмачами. Ценность рассказов—их искренность и правдивость. Впечатление, будто слушаешь живой голос вернувшегося с войны человека о трудных походах, о пережитых опасностях, о встреченных диковинных людях. Пусть эти рассказы не очень художественны, все же они глубоко заинтересовывают, захватывают. К сожалению, книга не передает колорита страны, «ее запаха».

С. Ригер-Налковская. Роман Терезы Геннерт. Пер. с польск. Изд. «Соврем. Проблемы» М.

Героиня романа, Тереза, жена одного из польских военных нуворишей, ставшего сановником, очень мало показана автором. Зато рельефно выступает общество ее салона, и—даже шире,—все польское аристократическое, офицерское и буржуазное общество. Прекрасно показана игра в польскую государственность,—эта мелочная кичливость собственными сановниками, собственными дипломатическими представителями, собственной военной формой и т. п. И государственность, и сановники, и рауты,—все это картонное, ничтожное, жалкое. Жалки эти люди, жалки и ничтожны их страсти (хотя и доводят они одного из героев до убийства Терезы Геннерт и самоубийства), жалка и философия их. Конец романа представляется почти символическим: гибель Терезы Геннерт и ее любовника—это гибель старого общества, аристократического и буржуазного, гибель польской государственности, такой надутой и никчемной.

Тьерри Сандр. Дом в квартале Батиньоль. Пер. с франц. Изд. «Мысль» Л.

В доме в тихом мещанском квартале Парижа живет молодая девушка Муслина, дочь сторожа бульвара и консьержки. Родители рассчитывают,—нет, не рассчитывают, а мечтают—выдать Муслину за инвалида войны, хорошо зарабатывающего. Но дочь влюбилась в молодого музыканта и после отказа родителей дать согласие на брак, убежала с ним. Идеал отца—видеть дочь богатой. Он готов примириться с ней, несмотря на позор, считая, что она стала содержанкой богатого старика. Но когда она возвращается к родителям, покинутая, несчастная, с младенцем на руках, он, отец, проклинает ее.

Условная мораль французского мещанина, его предрассудки, преклонение перед богатством, воплощенным в сорокасильном автомобиле,—выступает в романе с большой выразительностью.

Франк Вальдо. Праздник. Пер. с англ. Изд. «Земля и Фабрика» М.

Фабула романа очень проста, почти наивна, но роман волнует. Негр влюбляется в белую девушку, дочь своего хозяина. Его судят за это преступление судом Линча. С большой экспрессией показаны чувство негра, его протест против окружающего удушья, его ненависть к белым, хозяевам жизни, людям, которым все позволено. Любовь белой девушки—тоже протест против гнета, возмущение бесправием. Сходятся два протестанта, двое угнетенных, поставленных поработителями в разное положение.

От «Праздника» веет зноем, палящим пыльным зноем Черного Назарета. Несмотря на исключительно любовную интригу, у читателя нет представления, что он прочел в тысячу первый раз о любви негра к белой. «Праздник»—не любовный гимн, а крик возмущения. Может быть, отсюда и значительность романа.

Джемс Уэлш. Морлоки. Пер. с англ. Изд. «Недра» М.

Название взято из романа Уэльса «Машина времени». Автор рисует невыносимо тяжкие условия жизни английских углекопов, несостоятельность их легальной борьбы, бесплодность анархистского бунтарства: поджоги копей, взрывы шахт, магазинов и т. д. Другой, подлинно революционной, борьбы автор себе не представляет. Кажется, будто действие происходит в XVII веке, когда впервые вводились машины и обезумевшие от нужды рабочие разрушали их. Любовная драма двух молодых рабочих, влюбленных в одну девушку, притянута за волосы. Есть в романе сильные сцены, но их растянутость расхолаживает. Издана книга плохо. Корректура такая грязная, что роман читаешь с трудом.

Дж. Гэльсуорси. Член палаты Мильтоун. Пер. с англ. Изд. «Мысль» Л.

«Рыцарь без страха и упрека», не допускающий и мысли о попрании святости семейного очага, Мильтоун, влюбляется в замужнюю женщину, живущую без мужа. Развязка—член палаты Мильтоун все же остается верен своим консервативным принципам и прекращает встречи со своей возлюбленной.

Зачем русскому читателю заниматься всеми перипетиями недозволенной страсти лорда, зачем следить за его «тяжкими» переживаниями, которые нам кажутся жалкими и смешными, непонятно. Можно допустить, что при нынешнем разливе мещанства в Западн. Европе и даже у нас—книга интересует тех благополучных обывателей, которые зачитываются романами из великосветской жизни, где все—«на высший манер», все «с инкрустациями из золота и слоновой кости»,—но вряд ли эти интересы издательство призвано обслуживать.

Редактор: **И. Лежнев.** Издатель: **Кооперативное Т-во „Новая Россия“.**

Москва. Главлит № 54590. „Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный пер., 9. 15.000 экз.

Содержание № 1

Следующий № 2 журнала.
„НОВАЯ РОССИЯ“
выйдет 25 февраля с. г.

Кооперативное Издательство „НОВАЯ РОССИЯ“

КНИЖНЫЙ СКЛАД ИЗДАТЕЛЬСТВА

„НОВАЯ РОССИЯ“

принимает заказы на высылку наложенным платежом **любой книги**, брошюры, библиотечки, справочных изданий, карт, портретов вождей, плакатов, календарей, пьес и т. п. изданий **по номинальным ценам издательств.**

УЧРЕЖДЕНИЯМ, ШКОЛАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА.

При высылке денег вперед **ПЕРЕСЫЛКА БЕСПЛАТНО.**

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ САМОЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ И АККУРАТНОЕ.

Советы по подбору книг.

Заказы направлять по адресу: Книжн. склад изд. „Новая Россия“, Москва, Советская площ., 28.

Издательство (Основ. в 1884 г.) **„ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА“** Ленинград, пр. Володарского, 49.

Открыта подписка на 1926 г. на журнал:

XXXVII год издания **„ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА“** XXXVII год издания

Выходит ежемесячно под редакц. проф М. В. ЧЕРНОРУЦКОГО.

В 1926 г. в журнале предполагается поместить следующие труды: 1) **Oddo**, проф. „Терапия в неотложных случаях“ (симптомы, диагностика, лечение внезапных угрожающих жизни заболеваний).—2) **Маслов, М. С.**, проф „Основы учения о ребенке и болезнях детского возраста.—3) **Окинчиц, Л. Л.**, проф. „Гинекологическая клиника“, т. II (ч. 2—3).—4) **Harrisoon, X.** „Современная диагностика и лечение сифилиса, мягкого шанкра и гонорреи“.—5) **Pels-Leusden**, „Оперативная хирургия“, т. II.—6) **Kölsch**, „Профессиональная гигиена“.—7) **Backmeister**, „Терапия туберкулеза на дому“ (карм. книга для практ. врача).

Кроме того будет помещен ряд небольш. монографий по разн. отделам **медицины.**

Приложение: МЕДИЦИНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ на 1926 г., состоящий из трех частей.

Подписная цена—на год **20** руб

Допускается рассрочка платежа. При **групповой подписке** *(не менее 5 подписок)* годовая подписная плата может вноситься **равными ежемесячными взносами.** Группа избирает одного, который сносится с издательством.

Подробный проспект, по первому требованию, высылается бесплатно.
Деньги направлять: Издательству «ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА».
Ленинград, просп. Володарского, 49.

3412

50 коп.

